

85 ЛЕТ ЛЕГЕНДЕ

КРАСНАЯ СТРЕЛА

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН • ТАТЬЯНА ТОДСТАЯ • ВЛАДИМИР СОРОКИН •

ЗАХАР ПРИЛЕПИН • АЛЛА ДЕМИДОВА • МАРИНА СТЕПНОВА • САТИ СПИВАКОВА

• АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ • АЛЕКСАНДР ГЕНИС • ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

Сноб

Сборник

Красная стрела. 85 лет легенде

«АСТ»

2016

УДК 82-31
ББК 84(0)

Сборник

Красная стрела. 85 лет легенде / Сборник — «АСТ»,
2016 — (Сноб)

К 175-летию железных дорог России журнал "СНОБ" при поддержке издательства "АСТ" выступил с инициативой о создании книги, целиком состоящей из эссе, рассказов и путевых дневников, в которых тема путешествия являлась бы главным сюжетообразующим мотивом. Жизнь как вечная дорога, как авантюрное приключение, как поездка, конечная остановка которой остается неизвестной вплоть до самого финала. Само название книги, взятое напрокат у знаменитого экспресса, уже более 80 лет курсирующего между Москвой и Петербургом, мгновенно вызывает ассоциацию с железнодорожной тематикой. Впрочем, авторы сборника были вольны выбирать, каким видом транспорта им воспользоваться при своих передвижениях по свету. Ведь география книги необъятна: тут и Япония, и Израиль, и Чечня, и Венеция, и Прага, и Китай, а в конце – для всех читателей специальный бонус в виде фотоочерка Антона Ланге о его уникальном путешествии по железным дорогам России.

УДК 82-31
ББК 84(0)

© Сборник, 2016
© АСТ, 2016

Содержание

В разных поездах	5
Сверчок на печи	7
Служба попутчика	14
За проезд!	18
Зимняя сказка	25
“Ну, как жизнь, звезда?”	34
Где-то под Гроссето	39
Нечаянная встреча	47
Венецианские декабри	49
Марсианская народная республика	52
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Красная стрела. 85 лет легенде

Составители Сергей Николаевич, Елена Шубина

В разных поездах



Доподлинно известно, что всё человечество делится на тех, кто смотрит на проходящие поезда, и на тех, кто в последний момент умудряется вскочить на подножку и укатить в неизвестном направлении. Вид транспорта при этом не так уж и важен, хотя лично я предпочитаю поезд. Он и приходит вовремя, и уходит по расписанию, и выглядит романтичнее. К тому же за ним богатая литературная традиция. Тут самое главное – успеть, не пропустить, не опоздать. Но при этом надо всегда помнить, что прощальный взгляд на оставленный дом или чьи-то заплаканные глаза может обойтись слишком дорого, поэтому не следует повторять фатальную ошибку жены Лота. Не оглядывайтесь назад. Никогда не оглядывайтесь! Последнее, наверное, самое трудное для впечатлительных, нервных и привязчивых натур.

Об этом думали мы, собирая рассказы, эссе и истории для издания сборника “Красная стрела. 85 лет легенде”, пытаясь объединить самых разных авторов и героев, переплетения сюжетов вокруг одной магистральной темы. Это – дорога. Собираясь в нее, мы молодеем, сбрасывая лишние годы и килограммы. Всегда завидовал людям, которые умеют путешествовать налегке. Никаких тяжелых баулов, чемоданов, кофров... Легкая сумка через плечо.

Потертый портфель-дипломат с полагающимся джентльменским набором предметов и приспособлений. Никогда не надо тащить с собой в дорогу тяжелый груз былых печалей и комплексов. Всё это легко можно “забыть” дома вместе с таблетками снотворного. В дороге не стоит слишком долго спать. Иначе рискуешь пропустить всё самое интересное. Домашние тапочки тоже не советую брать с собой. Вдруг захочется с кем-нибудь познакомиться или пофлиртовать. В пути это случается буквально на каждом километре. Женщина в тапочках вызывает трогательную жалость, мужчина – презрение. Никогда не спешите разуваться –

это всегда знак капитуляции. Белый флаг, безмолвно выброшенный из окна, означает, что вы ни на что уже не претендуете. Но вы же претендуете? Не так ли?

Я знаю это так же наверняка, как и то, что еще ни одно удачное путешествие не обошлось без хорошей книги. И даже если за время пути вы ни разу ее не раскроете, она должна быть с вами как личный талисман, тайный оберег, страховой полис от скуки одинаковых пейзажей, пролетающих за окном. Что может быть прекраснее дороги, проведенной с “Доктором Живаго”? Если только другая дорога с Агатой Кристи! Впрочем, лично я выбираю общество Аллы Сергеевны Демидовой и еще 26 авторов, согласившихся написать специально для сборника “Красная Стрела. 85 лет легенде” о своих путешествиях и взаимоотношениях с дорогой.

Книга, которую вы держите в руках, – продолжение литературной серии журнала “Сноб” и “Редакции Елены Шубиной”. Однако главная особенность нынешней “Красной стрелы” в том, что это уже в гораздо большей степени *fiction*, чем *non-fiction*. Перед авторами была поставлена задача не просто поведать нам о своих странствиях по свету, но сделать путешествие главным сюжетобразующим мотивом.

Жизнь как дорога, как долгожданный отрыв, как авантюрное приключение, цель и конечная остановка которого остаются неизвестными до самого финала. Да и само название, взятое напрокат у нашего поезда-юбилера, знаменитого экспресса, мгновенно вызывает ассоциацию с железнодорожной атрибутикой. Правда, атрибутикой уже слегка винтажной, вытесненной из продвинутого сознания стерильным комфортом и сверхскоростью неумолимого “Сапсана”.

И все-таки “Красная стрела”! Почему? Потому что стрела, потому что летит, потому что в ночь. Всем, кто был счастлив и хотя бы однажды любил в “Красной стреле”, посвящается ...

Конечно, наши авторы были вольны выбирать, каким видом транспорта им воспользоваться. Однако именно мотив поезда, железной дороги, вокзала как одного из постоянных мест действия нашей жизни, проходит через большинство текстов.

И неслучайно, что новое издание “Красной стрелы” выходит в год 85-летнего юбилея легендарного поезда и при самой деятельной поддержке ОАО “РЖД”, одной из главных системообразующих компаний России, которую мы искренне хотим поздравить с этой датой и заверить в нашей ей верности и любви.

Наша благодарность французскому модному дому *Louis Vuitton*, чья продукция не только делает жизнь путешественников всего мира более комфортной, но и позволяет им оставаться по-настоящему элегантными в самых непростых дорожных обстоятельствах.

Моя всегдашняя признательность и восхищение редактору Елене Шубиной, а также литературному редактору журнала “Сноб” Сергею Алещенку, моему главному помощнику во всех книжных проектах и начинаниях.

Итак, просьба ко всем провожающим освободить вагоны. Наш поезд отправляется...

Сергей Николаевич
Апрель 2016

Сверчок на печи Людмила Петрушевская

Вначале этой рождественской сказочки речь пойдет о поезде “Красная стрела” из Ленинграда в Москву, в котором, в вагоне СВ, я провела бурную ночь с пьяным полковником 29 декабря тыща девятьсот лохматого года.

Этот поезд, кстати, по определению был не для нас, запрещенных советских писателей, но – вот парадокс – именно на нем я должна была торжественно отправиться домой после премьеры своего спектакля “Чемодан чепухи” в каком-то питерском молодежном театрике, который только что возник, и чуть ли это не первый был у них спектакль.

Премьера – это все знают – праздник. Цветы, банкет за кулисами. Тут еще их и московский автор почтил. И они оплатили мне обратный билет в СВ, в спальном вагоне. Что было верхом гостеприимства!

Но я на банкете тосковала. Дома денег не было вообще. За эту премьеру и спектакль когда-нибудь пришлют на сберкнижку три копейки (агентство по охране авторских прав – ВААП – платило авторам какие-то нищие проценты спустя месяцы, а в дальнейшем, когда меня стали ставить за границу, я обнаружила, что за зарубежные спектакли они вообще берут себе 83 % в валюте!).

И какова была вечная молитва всех советских командированных? Вот она: “Дайте деньгами!” В дальнейшем это горячее и невысказанное желание касалось зарубежных командировок, когда во время фестивалей и книжных ярмарок мимо наших деятелей культуры текли реки марок, фунтов и лир. Всегда мимо. Нам давали гостиницу с завтраком, давали иногда одну на всех машину по городу, и все! Приходилось делать утром за завтраком тайные бутербродики на весь день, да... Садиться спиной ко всем и держать сумку на коленях разверстой. Случалось и под-голаживать. Ведь наши нищие суточные предназначались, чтобы купить домой сыр, колбасу и хоть какую-нибудь одежду из секонд-хенда. На милой родине не было ничего. Один раз в Финляндии местные русские повезли всю нашу театральную делегацию на помойку. Туда добрые граждане складывали, оказывается, ненужные вещи. Я не попала на этот шикарный рейс, но все вернулись с добычей: один из нас, редактор журнала под кодовым названием “Театральная смерть”, надыбал себе компьютер неизвестной пригодности, он озабоченно волок на себе этот тяжеленный экран, другой нес почти новую куртку немножко из лужи, моя подруга по профессии добыла для своего мужа кожаный пальто времен русско-финской войны, но не рассмотрела, оно было пуговицами на дамскую сторону. Мне как обделенной жалостливый драматург III. подарил слегка погнутую красную плетеную корзиночку, она долго у нас дома служила потом для всякой дребедени.

Однако зарубежных поездок еще не было в моей жизни. Имелся у меня в те поры стишок “но до этого надо добраться, и дожить, и живыми остаться”, пока что добираться не удавалось, исключали из всех делегаций. Один раз в мою родную Польшу вместо меня полетело пустое место, поляки купили билет, а наши не разрешили.

Правда, в состоянии нелегальности тоже были какие-то свои плюсы. Система поддержки. Работало Бюро пропаганды советского киноискусства, и точно такое же бюро было в Союзе писателей.

От Бюро пропаганды советской литературы я ездила за семь рублей одиннадцать копеек то на электричке в колхозные клубы, то в зимние каникулы в лагерь выступать перед детьми, то в школу для олигофренов, то в суицидальный центр читать сказки засыпающим пациентам, то по библиотекам, то по детским домам (это уже бесплатно).

Бюро пропаганды советского киноискусства посылало меня несколько раз в хлебные поездки, один раз я попала в Новосибирск при температуре минус пятьдесят один градус. Я придумала назвать свою программу “Лучшие мультфильмы мира”, так как бюро выделило мне для привлечения аудитории четыре черно-белых мультлика Уолта Диснея тридцатых годов, по три минуты каждый. И это пользовалось грандиозным успехом у зрителей, несмотря на то что в городе творился апокалипсис – что-то взорвалось на ТЭЦ. В залах, где я выступала, было плюс семь. Мало того, молоко в той части страны отпускали по рецептам, а огуречный лосьон и настойку боярышника в аптеках начинали продавать только с трех дня (одеколон в парфюмериях тоже). Я везла с собой мои любимейшие мультфильмы: Эдуарда Назарова “Жил-был пес” и “Про муравьишку”, и, кроме того, взяла для показа свежерезренный фильм “Сказка сказок” Юры Норштейна. Его не понял никто, даже в Академгородке. И сказку “Пуськи бятые” встретили гробовым молчанием. Хорошо, что в зале было несколько малых детей, они смеялись. (“Она читала заумь”, – решили ученые.)

Итак, меня на вокзал везла на машине делегация во главе с кинорежиссером Ильей Авербахом (это он помог театру через свои кинематографические связи достать билет в спальный вагон, называемый СВ).

Я считала (и другие тоже), что меня ждут отдельное купе, чистейшее белье, вежливые проводники. От чая я планировала отказаться, тогда мне не хватило бы на метро. Покой будет, тишина. Гарантированный сон до утра в Москве. Не то что пьяная плацкарта и духовитый терем-теремок на четверых – купе.

В морозной тьме мы торжественно и с цветами дошли по перрону до вагона, вежливый проводник взял мой билет – и по ковровой дорожке я с целой процессией проследовала за Илюшей к своему купе.

Илюша оттянул дверь, и мы застыли. Слева на застланной белоснежным бельем полке сидел по-турецки мужик в голубых кальсонах.

Справа, на моем ложе, тоже застланном белоснежным бельем, громоздились в шинелях красномордые немолодые офицеры, один из них расположился прямо на подушке. Они показались мне похожими на ямщиков прошлого века с какой-нибудь жанровой картины общества передвижников.

Было накурено и нахаркано. На столике стояли две захватанные бутылки водки, одна уже пустая, в другой оставалось на доньшке. И полная бутылка фанты, редкий товар в то время. Ее продавали только в валютной “Березке”.

Произошла немая сцена, причем с обеих сторон.

Куда там гоголевскому “Ревизору”!

Наконец, после длительной паузы эти двое в толстых шинелях, украдкой, но заинтересованно поглядывая на меня, подняли обширные зады с моей подушки и с моей белой простынки, коряво поцеловали начальство (сидящее в позе йога, как теперь бы сказали, но в голубых кальсонах) и вышли, потеснив нас животами в коридор.

Вообще-то это был, конечно, гоголевский сюжет. Ревизор.

Дядя приезжал с инспекцией из Москвы и теперь, после ужина в ресторане, был доставлен в СВ.

Почему я подумала, что это ревизор, приехавший из Москвы, – если бы он ехал с ревизией в Москву, он бы не пил. Да и кто из Питера мог ревизовать московских!

Мои печальные провожатые поставили чемодан на койку и повели меня к бригадиру поезда ругаться. Но другого места не нашлось. Даже у проводников.

Меня вернули в купе, попрощались и вышли. Поезд тронулся.

А мой чемодан оказался не застегнут. Афиша лежала развернутой.

С соседней полки донеслось увесистое:

– Артиска?

Я закрыла чемодан и поставила его в ящик под свою койку вместе с афишей. Видимо, я что-то пробормотала.

– Че, думаешь, я в твоём чемодане шевырялся? – прозвучал вопрос.

Я перешла в коридор на откидную скамеечку, закрыв купе. Он сразу же отодвинул дверь, высунул морду в коридор и заорал:

– Артиска, хочешь, я тебе почитаю поэму Лермонтова “Сашка”?

Я перебралась на другое сиденье, вдаль по коридору.

Мой ревизор вопил стихи в дверь, держа в руке бутылку, он временами присасывался к ней, как младенец, надеясь на последние капли.

Проводница, разнеся чай, больше из своего купе не показывалась. Да я и не рисковала к ней ходить, дядя вполне мог добраться до моего чемодана.

Хорошо, что “Красная стрела” грохотала, тренькало ведро у кипятильника. Ревизору приходилось напрягаться в этом дорожном шуме. Он выкрикивал отдельные, наиболее важные слова.

Часа через два дядя отрубился, затих.

Я осторожно вошла в купе. Вояка лежал животом вверх как убитый, уронив руку до пола, в кривой позе.

Я умостила голову в сторону двери, накрыв простыней лишенную свежести подушку (эти в шинелях ее оприходовали своими задами). Заснуть не удалось. Дядя храпел ужасно. Мало того, на столике бутылка фанты (стеклянная) беспрерывно чокалась с пустыми бутылками из-под водки: “Тинк-тинк! Тики-тинк!”

Что было делать, я поднялась, взяла эту проклятую фанту и хотела ее отставить от пустой бутылки. Но потом у меня возник коварный замысел: я спрятала ее под полку ревизора, глубоко-глубоко. Другую бутылку я поставила под столик. И опять попыталась заснуть.

Вскоре наступила тишина. Храп прервался стоном. Дядя с громким кряканьем, кашлем и чавканьем привстал и во тьме потянулся, я догадалась, за фантой.

Он шарил, хватал пустую бутылку водки, присасывался к ней, отставлял ее обратно, тяжело дыша пересохшим ртом и отхаркиваясь, но ничего не мог понять!

То есть он, видимо, запаниковал. Где те бутылки? Дядя с шумом сел, и по звуку было слышно, что он обшаривает рукой столик. Потом запыхтел, полез под стол, видимо, поднял оттуда пустую бутылку... Почмокал впустую. Затем очень тихо лег. Он явно размышлял над тем, что могло произойти. Что было-то, явно ведь что-то случилось, если фанта пропала, а та бутылка стоит под столом... Может быть, он заподозрил, что что-то натворил, допустим, разбил бутылку фанты? И тут долго убирали? А он ничего не помнит... И что будет завтра?

Я про себя хихикала. Муки узника, который с пересохшим ртом ищет воду, чередовались у него с паузами, с попытками вспомнить, что же было. Он даже дышать стал тише. Затаился.

Я понимала, что он не может выйти в коридор, поскольку сообразил, что единственный его наряд – это нижнее белье. В таком виде выйти даже в уборную позор. Надевать мундир и брюки, наверное, ему было не под силу.

Наконец он захрапел.

И мне удалось заснуть.

В шесть утра в вагоне заиграло радио. В половину седьмого поезд прибывал в Москву.

Я достала полотенце, собралась почистить зубы. Опять оставлять чемодан беспризорным? Взглянула на соседнюю полку. Полковник все еще лежал без признаков жизни в своих голубых кальсонах поверх белья и, видимо, испытывал какие-то физиологические проблемы. Ниже пуза у него слегка вспучилось.

Я быстренько вымелась из купе, умылась и встала у окна.

В полной форме, с полотенцем через локоть возник этот красномордый красавчик. Поздоровался. Я не ответила. Он проследовал в туалет.

Вернувшись, он покопался в своем купе (фанты не нашел!) и вышел в коридор. Встал рядом со мной и заговорил:

– Я извиняюсь, если что было.

Я ответила:

– Пошел в жопу.

Он невозмутимо продолжал:

– Меня встречает машина. Я могу вас отвезти куда надо.

Я повторила свою формулировку.

Он сказал:

– Послушайте.

Я его перебила той же фразой. Я вообще-то не ругаюсь. Но тут мне было надо сказать ему в краткой форме все, что я о нем думаю.

Он был серьезно напуган, опять скрылся в купе. Вышел в шинели, с огромным задом, как у кучера. В фуражке.

Поезд прибыл на перрон. Я подождала, пока дядя выйдет. У него был бледный и какой-то битый вид, как у свиной головы на рынке.

Правильно, грешников по утрам черти мают адовыми муками.

И поделом.

И только на обратном пути, уже в метро, я поняла, что это он пытался за мной ухаживать. “Артиски” – они для чего? С концертами их приглашают зачем? И те двое, покидая купе, довольно двусмысленно на меня пялились. Догадались о возможностях.

Пятнадцать копеек оставалось у меня в кармане.

С чем я и приехала, плюс с коробкой конфет, подаренной на банкете. Она пойдет к столу послезавтра. Больше дома нет ничего. Сегодня 29 декабря.

Дома еще спали. Кирюша в школу не пошел и правильно сделал. Боря тоже спит правильным сном, ему на дежурство в гараж только завтра. Федечка ангелом лежит, сомкнув реснички, в своей кровати. Я бухнулась на тахту и забылась в тревожном сне.

Пробужденная настойчивым Федей уже в полдень (он сиделся мне на голову), я начала действовать: перерыла все сумки, встрясла все карманы. Ничего. У меня муж, двое детей и моя мама, которая, конечно, приедет к нам на Новый год, чем я буду их кормить?

Оставались три варианта: попросить в долг у обеспеченных друзей, занять у соседок по подъезду или снять со сберкнижки последние пятьдесят копеек (хлеб тогда стоил, белый батон, двадцать пять копеек, серый батон – девятнадцать копеек, молоко – двадцать три копейки бутылка).

Я долго собиралась, стирала, убирала, сварила последние три картошки и к вечеру решила: позвонила проверенному другу Юре. Надо сказать, что до той поры я не занимала ни у кого, считала, что лучше поголодать, чем просить.

Но тут ситуация вопиющая, на носу Новый год, маме и детям полагаются подарки! И мама ведь обязательно купит что-нибудь со своей копеечной пенсии! И Кирюшу нельзя оставлять без кулька конфет и книжки. И мужу Боре тоже полагалось купить хотя бы носки – ах-ах. И маленькому Феде нужно устроить елку! А под елкой полагаются подарочки! Даже елки у нас не было на этот раз. Кошмар!

Проверенный друг Юра растерялся, когда я ему позвонила и попросила займы пятьдесят рублей.

Сумма огромная, конечно.

Зарплата моего мужа Бори, сторожа при гараже, составляла пятьдесят семь рублей. Так работали многие интеллигенты, которые не желали служить в государственных учре-

ждениях (или состояли под контролем КГБ). Они устраивались ночными сторожами, дежурными в котельных, ночными дежурными в общежитиях. Только чтобы не работать на эту власть.

Друг Юра как-то жалко ответил, что он деньгами в семье не распоряжается, надо спросить у жены. Хорошо, ответила ему я.

Затем я позвонила своей богатой приятельнице, сценаристке. Тут уж я откровенно сказала, что в доме нет хлеба. Сценаристка тоже ответила вполне откровенно, что только что приехала домой издалека, поставила машину в гараж, а гараж далеко, так что устала и больше из дома не выйдет сегодня.

Ну нет у человека сил. Понятно. Бывает.

Кроме того, возьмешь деньги в кассе – и придется еще сидеть и ждать, когда за ними придут.

Ходить по соседям было стыдно: они сами у меня постоянно занимали по рублю, даже по пятьдесят копеек. Нищий был у нас подъезд, рабочая кость, заводские. Перед праздниками денег ни у кого нет. Зарплаты-то в начале января.

Дальше оставалось последнее – идти в сберкассау и ликвидировать сберкнижку. Там пятьдесят копеек, тот минимум, при котором можно не закрывать счет, меньше нельзя. А как раз на данную книжку мне иногда приходили гонорары, и именно этот счет знали в бухгалтериях. Закрывать сберкнижку, и всему конец. Я же все время работала: то переводила, то удавалось сказку пристроить. Копейки платили, но если в печатных органах будут публиковать и в Бюро пропаганды дадут выступление хоть раз в месяц, то жить можно.

У меня были сторонники и друзья в журналах: Инна Петровна Борисова, моя литературная крестная, редактор в “Новом мире”, затем Боря Ряховский, заведомо прозы журнала “Сельская молодежь”, еще Инна Андреевна Сергеева, тоже заведомо в “Дружбе народов”, кроме того, Андрюша Мальгин в газете “Неделя”. Рассказы, правда, напечатать почти не удавалось – над Борей Ряховским дружно смеялась вся редколлегия журнала, когда он произносил мою фамилию. Их главный редактор меня на дух не выносил, так же как все главные редакторы всех журналов и издательств. Дурная слава очернительницы советской действительности... Да и советские критики, не буду называть их фамилии, держали глухую оборону, стараясь не допустить такого вредного автора к печатному станку (некоторые служат этому делу до сих пор, хотя безрезультатно).

Я сидела у телефона, глупо улыбаясь после своих бесплодных разговоров. Приходилось все-таки ползти в сберкассау. Надо было покормить детей. И я пошла за своими последними копейками в морозной тьме. Там, в кривом закутке, в духоте, стояла обычная очередь, терпеливая очередь бедняков. Сюжет для еще одних вангоговских “Едоков картофеля”. А за стеклом виднелись замордованные бабы, их склоненные головы, их руки, безостановочно строчащие, перебирающие в ящиках.

Подошла наконец и моя решающая минута.

Я протянула вниз свою сберкнижку. Что будем делать? Куда теперь придут будущие деньги, когда меня все-таки станут печатать? Счет закрыть – это конец. Придется сообщать повсюду, что моей сберкнижки больше не существует. А что эти пятьдесят копеек, ну батон, ну бутылка молока. Перебиться на сегодня.

Хорошо, ладно, завтра Юрина жена даст займы, еще кто-нибудь даст.

За стеклом приняли мое последнее достояние, сберкнижку, достали карточку из ящика, взглянули, что-то начирикали на бумажке и задали мне идиотский вопрос:

– Сколько брать будете?

Я даже издала некоторый смешок. Дескать, все пятьдесят копеек возьмете или тридцать оставите?

– А что, можно не все? – спросила я во внезапной надежде. Счет не ликвидировать – это важно!

– Да, – ответили мне.

Тут я, посчитавши в уме, сказала:

– Ну тогда сорок четыре копейки можно взять?

(Куплю серый батон за девятнадцать и молоко за двадцать три.)

На меня посмотрели ошарашенно:

– Сорок четыре копейки?

– Ну, если можно, – поторопилась я.

Тетка вдруг опомнилась и с некоторой усмешкой произнесла:

– А вы посмотрите, сколько у вас!

И протянула мне мою сберкнижку.

Я посмотрела. Я чуть не упала.

Там стояла новая запись: триста двадцать рублей пятьдесят копеек.

Цифры начали скакать у меня в голове. Я временно потеряла сообразительность. Я лихорадочно соображала, сколько денег понадобится. Не получалось.

– Ну что?

Я бухнула:

– Ну что, сто семьдесят рублей я возьму.

Очередь за мной явственно переступила с ноги на ногу. Всколыхнулась. Сто семьдесят – это были большие деньги.

Я полетела в морозной тьме в булочную, отстояла там очередь, купила два батона, потом помчалась в молочный, отстояла там еще очередь, купила бутылку молока и бутылку кефира, взяла бы и сметану, но не было с собой баночки, даже сумки я не прихватила из дому. Не надеялась. Все пришлось тащить в руках. Два свежих хрустящих белых батона и две бутылки.

По пути домой я не выдержала и откусила у одного батона хрустящую попку.

Ворвалась в квартиру, на кухню, показала Боре деньги и сберкнижку. Мы начали дико хохотать. Федя притопал, мы с ним даже поплясали. Кирюша выглянул, ничего не понимая, с чего такое веселье. Обрадовался. Короче, наш папа был послан за елкой. Назавтра ведь он пойдет в гараж на сутки, а тридцать первого елок может уже и не быть.

Утром я оставила Федю на Кирюшу и хорошо постояла в очередях в бакалее, в магазине “Диета” и сразу в двух очередях в овощном. И наведалься в книжный и в нашу галантерею. И на

Новый год пришла моя мама с кексом “Столичный” и с подарочками всем, с открытками в стихах, и у нас было тушеное мясо с черносливом в скороварке, роскошный оливье, жареная картошка и мой фирменный салат “Вырви глаз” (из лука, майонеза и трески горячего копчения). И даже имелась бутылка шампанского, она сверкала на столе своей серебряной головой!

Но самое главное, что у нас была елка, не слишком пушистая и даже костлявая, последние отходы, измеряемые на елочном базаре в погонных метрах как деловая древесина. Она красовалась на рояле, вся увитая гирляндами и серебряным дождиком, со звездой на вершине, со стеклянными бусами, с ватным Дедом Морозом и с картонными игрушками из моего детства, которые еще сохранились, все эти рыбки, звездочки и хлопушки.

Кстати, Юрка мне позвонил на следующий день: “Все! Приезжай за деньгами”.

А я ответила:

– Юра, ты будешь смеяться, но я получила большой гонорар. Наверное, за пьесу.

И мы долго хохотали.

В Новый год Кирюша играл нам на рояле, а Федя, как всегда, забрался к нему на колени и тоже барабанил по клавишам, и мы пели “Маленькой елочке холодно зимой”.

Чистый Диккенс, рождественская сказка “Сверчок на печи”...

Конец года, счастливый праздник бедняков.

Служба попутчика Евгений Водолазкин

Есть в Германии междугородная служба попутчика.

Она находит человека, готового взять тебя в свою машину в нужном тебе направлении. Ты платишь ей за это небольшие деньги. Тому, кто тебя везет, ты тоже платишь небольшие деньги – и то не всегда. По совокупности это получается вдвое дешевле поезда. Очень удобная служба.

Однажды летом я воспользовался ею, добираясь из Берлина в Мюнхен. Созвонившись с водителем по имени Курт, я приехал на условленную улицу. Машина уже ждала. По ее виду (старенький “фольксваген”) было понятно, что платить придется. Не платят в роскошных машинах вроде “мерседеса”. Их экстравер-тированные владельцы берут попутчиков не ради денег: таких водителей интересует общение. А в “фольксвагене” – платят.

Курта я опознал сразу. Полуприсев на капот, он курил. “Курт курит”, – придумал я начало скороговорки. Курт лысеет. Коротко стрижется, как все лысые. И это в тридцать с небольшим. С другой стороны машины стояла девушка, по виду студентка. – Хайди. Тоже пассажирка, – сказал Курт.

Пассажирка Хайди не отреагировала. Возможно, слов Курта она просто не слышала. Обмахивалась газетой – отсутствующе и как-то даже непреклонно. Так обмахиваются после ссоры.

– Вы русский? – спросил меня Курт, и я кивнул. Он улыбнулся: – Я ведь в хорошем смысле спрашиваю.

Предполагался, оказывается, и плохой. Но Курт ничего не имел против русских. Он сказал мне:

– Давайте так: полдороги машину веду я, полдороги вы – и я не беру с вас денег за поездку. Получается по три часа.

Я отказался. Я пробормотал, что так мы можем уехать слишком далеко. Курт развел руками и пригласил нас занять места в машине. Увидев, что Хайди села на заднее сиденье, я сел на переднее. Садиться рядом с таким независимым человеком мне было просто неловко. Как только мы тронулись, я прислонился к боковому стеклу. Его прохлада была приятна. Я закрыл глаза. Ночь накануне я провел с берлинскими друзьями и за время дороги надеялся отоспаться.

– Чем занимаетесь? – спросил Курт.

Я открыл один глаз: это относилось ко мне.

– Русской литературой. Преподаю. – Глаз мой закрылся. – Вы не будете против, если я вздремну?

– А вы не будете против, если я вздремну? – отозвался Курт. – Простите, но когда на переднем сиденье кто-то спит, я тоже начинаю засыпать.

Он сразу поехал как-то так, что машину начало трясти. Голова моя дробно стучала о стекло. Чтобы прекратить вредительство Курта, я решил пересест на заднее сиденье. Там, как я надеялся, подразумевалось мое право на сон. Курт не возражал. Когда машина остановилась, я перебрался к Хайди. Сидя у противоположных дверей, некоторое время мы ехали молча. Я пытался снова задремать, а Хайди читала газету. Курт хотя и был слегка обижен, сдаваться не собирался.

– После нашей с вами беседы, – сказал он мне, – обратиться к вам девушка просто постесняется. Она могла бы рассказать что-то интересное, но ведь вы, проф, хотите спать. Можно, я буду называть вас “проф”?

От перемены мест результат не изменился – Курт продолжал говорить. Ему, конечно, не повезло: я хотел спать, а Хайди была замкнутой. Если бы он не брал с нас денег, думалось мне, мы с Хайди, вероятно, были бы обязаны его развлекать. Поддерживать разговор, оплачивая тем самым свой проезд. Но ведь мы ехали на коммерческой основе. Это он хотел бесплатных бесед. Он был настоящим халявщиком, этот Курт.

От его болтовни мой сон мало-помалу прошел. Приоткрыв глаза, я тайком наблюдал за Хайди. Она была subtilной и смуглой – есть такой немецкий тип. Вслед за песней определяю его для себя как тип персидской княжны. Которую (я мысленно взвесил Хайди) не так уж сложно выбросить из лодки. Из поезда, автомобиля, откуда угодно: беззащитна, только бросай. Она сидела прямо, едва касаясь спинки сиденья. Короткие рукава, подсвеченный солнцем пух на руках. Так выглядит лето.

Сквозь ресницы, в которых все еще плавала немецкая девушка, я увидел насмешливый взгляд Курта. Взгляд сверлил меня из зеркала заднего вида. Курт подсмотрел, как я любуюсь ее беззащитностью.

– Теперь она не расскажет ровным счетом ничего. Только из-за вас, проф.

– Если это будет интересный рассказ, я готов бодрствовать, – пошел я на уступки. – Например, если Хайди расскажет нам свою жизнь. Расскажите, Хайди?

– Вам это не кажется агрессией? – спросила меня Хайди. – Почему я должна рассказывать свою жизнь?

– Вы не должны, – ответил я. – Скорее, у вас есть возможность. Знаете, существует такой русский жанр – разговоры в купе. В купе рассказывают жизнь такой, как она была. Или такой, как мечталась, – неважно – никто ведь не проверяет. Главное здесь в том, что, выйдя из купе, собеседники не встречаются больше никогда.

– Вы хотите, чтобы я перед вами, фигурально говоря, разделась?

– Не он хочет – русская литература, – вступился за меня Курт. – В русской литературе все только и делают, что друг другу исповедуются. Почитайте Достоевского.

– А я читала, – сказала Хайди. – И у меня сложилось странное впечатление. Мне показалось, что все русские – как бы это помягче сказать? – истерики.

– Ну, не все. – Курт, не оборачиваясь, показал на меня. – Наш-то спокоен.

Хайди попыталась сложить газету, но у нее не получилось. Утратив форму, газета приобрела объем. Хайди снова развернула газету и ребром ладони ударила ее по линии сгиба. С коротким всхлипом газета согнулась пополам. Еще раз согнулась и шлепнулась на сиденье между нами. Соппротивление подавлено. Победительнице машут экологичные ветряки по обе стороны дороги. Что никогда не интересовало русскую литературу – это экология.

Глядя на меня из своего зеркала, Курт сказал:

– Вы подали хорошую идею, проф, но в наших условиях она неосуществима. Немецкие мальчики и девочки – другие: исповедоваться они никогда не будут. В нашей среде это не принято, у нас – дистанция.

– Так я и предлагаю ей другую среду. – Я указал на себя большим пальцем. – Со мной можно.

– С ним можно, – подтвердил Курт.

Я продолжал наблюдать за Хайди. Она вела себя как человек, который готов выступить с заявлением. Вдыхала ртом. Покусывала губы. Созрев, произнесла:

– Ладно, я ведь – не та, кто портит игру. Расскажу вам кое-что о себе.

Она только что окончила университет, работает ветеринаром. Любит животных, иначе бы не работала. Животные – как маленькие дети. Не могут объяснить, где у них болит, обо всем приходится догадываться самой. Профессия не так чтобы захватывающая, но дает возможность зарабатывать на жизнь. Хотя сейчас все сложнее: на запад Германии, где она живет, все чаще переезжают восточные немцы. Они готовы работать за меньшие деньги

и сбивают цены. Хайди надеется, что среди нас нет восточных немцев (я успокоительно киваю) и что своим рассказом она никого не огорчила.

– Я – восточный немец и огорчен, – сказал Курт. – Но огорчен другим. В вашем рассказе нет доверительности. Это – не русская литература. Это – рассказ для отдела кадров. Простите.

– Тогда расскажите о себе, – предложила Хайди. – Демонстрируя доверительность.

– Отлично. Рассказываю.

Курт – программист, хобби – альпинизм. До воссоединения Германии жил в восточном Берлине. Горы в ГДР никакие, и Курт мечтал о Кавказе. Для СССР, однако, требовалась виза, получить которую было сложно. В отличие от СССР, с восточных немцев визу не требовала Румыния, что и было использовано хитроумным Куртом. Раздобыв ключ проводника, он садится в поезд Берлин – Бухарест. Этот поезд (такова география) два часа идет по территории Украины, причем делает там техническую остановку. Во время остановки Курт открывает дверь своим ключом, преспокойно выходит на Украину и направляется на Кавказ. Пробыв три недели в горах, он задумывается о возвращении и выбирает легальный путь: поезд Москва – Берлин. Советским пограничникам путешественник показывает внутренний паспорт и – билет общества немецко-советской дружбы, в которое однажды вступил по наитию. Пограничники ошеломленно рассматривают эти бумажки, пытаясь в голубых глазах немца прочесть, насколько он вменяем. Создавая атмосферу непринужденности, Курт повторяет слово “дружба” (другие ему не вспоминаются). Идут долгие переговоры по рации. Детали их Курту непонятны, ясно лишь, что в рядах пограничников царит растерянность. Ситуация нетипична, и в отношении восточно-германских друзей они боятся поступить неправильно. Оглядываясь по сторонам, пограничники заталкивают Курта обратно в купе и уходят. Таким же образом Курт ездил и в последующие годы. Всего – восемь раз, до падения стены. Потом он уже ездил в Альпы.

Слушая Курта, я думал о том, что восточные немцы теперь больше похожи на нас, чем на западных немцев. Хайди – сдержанная, а Курт – вот он какой: наш человек. Как же мало времени им для этого понадобилось...

В окрестностях Лейпцига мы остановились у кафе и съели по пицце. Курт выпил безалкогольного пива, а мы с Хайди – по паре стопок немецкой водки “Горбачев”. “Горбачев” был ее заказом. Из-за жары пить водку мне не хотелось, но я сделал это ради девушки. Она русифицировалась просто на глазах.

Когда мы сели в машину, Хайди стала рассказывать о своих молодых людях. Упреков со стороны Курта больше не последовало: истории для отдела кадров явно не предназначались. Хайди последовательно описала друзей, их интересы, а также места, где она с ними занималась любовью. Это были парки, ночные пляжи и примерочные дорогих магазинов. В одном магазине их обнаружили по движению ног: пара не учла, что дверь там не доходила до пола. Да (Хайди щелкнула пальцами), она никогда не занималась любовью в машине, хотя что, казалось бы, могло быть естественней...

Курт спросил:

– Проф, а почему вы отказались вести машину – у вас нет с собой прав? Их ведь здесь никто не спрашивает.

– Я не умею водить машину.

Курт присвистнул.

– И ничего в своей жизни не водили? Даже “жигули”?

Я задумался.

– Бронетранспортер. На военных сборах я водил бронетранспортер.

– Ну, после этого вполне можно вести машину. Соблюдая, конечно, правила – разметка дороги там, красный свет...

– Для бронетранспортера не существует красного света, – строго ответил я.

До бывшей немецко-немецкой границы мы ехали по шоссе гитлеровских времен – огромным бетонным блокам. На стыках блоков колеса издавали короткий хлопающий звук. Он задавал ритм нашего движения до границы. После границы начался шестиполосный автобан, а с ним – пробка. Мы открыли окна. Попросив разрешения положить мне голову на колени, Хайди сняла кроссовки и сунула ноги в окно. Мы ехали на малом ходу, а Хайди вращала оранжевыми, в полоску, ступнями. Из параллельных рядов нам приветственно махали. О раскрепощающем влиянии русской литературы там даже не догадывались. Голова

Хайди ерзала по моим бедрам. Широко раскрытые глаза упирались в мой подбородок.

– Знаете, проф, – сказала Хайди, – считается, что самое сексуальное в мужчине – это ум. Ум и опыт. Мне кажется, девушка физически ощущает, как они входят в нее со зрелым мужчиной...

В зеркале мне подмигнул Курт. На такой градус доверительности не рассчитывал никто. Поколебавшись, я легонько нажал Хайди на нос: в сложившейся ситуации действие было единственно правильным.

– Я думаю, это заблуждение юности – насчет вхождения ума и опыта. Входит, Хайди, только одно, никогда не догадаетесь – что.

– Догадаюсь.

Машина стала снова набирать скорость. Хайди села и закрыла окно. По обе стороны дороги потянулись ярко-желтые поля рапса, и лица сидящих в машине стали желтыми. За ними последовали заросли баварского хмеля, но цвет наших лиц уже не изменился. Наверное, мы просто устали.

Под Нюрнбергом зашли в придорожный ресторан выпить кофе.

– Так что же мне теперь делать? – спросила Хайди.

– В каком смысле? – не понял я.

– Вообще.

Курт выдохнул сквозь неплотно сомкнутые губы. Длинное “ф”, начинающееся с “п”. В ответственный момент так делают все немцы.

– Лечите ваших звериков, – сказал он. – Остальное прояснится по ходу дела.

Хайди посмотрела на меня.

– А что в таких случаях советует русская литература?

– Советовать бессмысленно. Да это и не входит в задачи литературы.

– Что же тогда входит в ее задачи?

– Не знаю. Может быть, создавать среду.

До Мюнхена мы ехали молча. Прощаясь, Хайди предложила оставить мне номер ее телефона.

– Вы же знаете законы жанра, – напомнил я. – Их нельзя нарушать.

Мы расплатились с нашим водителем и обнялись – все втроем. Одной щекой я чувствовал колючего Курта, другой – вспотевшую Хайди.

– Вы женаты? – спросила Хайди. – Вы не хотите мне звонить, потому что вам было бы неловко перед женой?

– Скорее – перед русской литературой, – ответил Курт, пряча деньги.

Я пожал плечами. Вероятно, мне было бы неловко перед обеими.

За проезд! Татьяна Толстая

*И она взлетела в воздух, чтобы полетать кругом, как обычно, и увидела летящего ифрита, который ее приветствовал, и спросила его:
“Откуда ты летишь?”
– “Оттуда”, – ответил ифрит.
“Тысяча и одна ночь”*

Одичать: покинуть и Питер, и Москву, – кому что выпало на долю, – купить еще крепкую избу в брошенной деревне близ Бологого, около Окуловки; копейки, сущие копейки, но печь разваливается, а печники умерли; кровля просела, а плотники запили; колодец пересох, а землекопы наточили лопаты и ушли в бандиты; а может, обойдется, а может, как-нибудь.

Войти в сыроватую, сильно пахнущую прежним хозяином избу: остатки заскорузлого зипуна на гвозде в сенцах, тряпки, одинокий резиновый сапог сорок большого размера, треснувший поперек. С внезапно обострившейся хозяйственной жадностью, с кулацкой сметкой, всплывшей из древних глубин сознания, осмотреть и ощупать брошенное добро: может, пригодится еще, а вот если нарезать на лоскуты, порубить на какие-нибудь ремни. Если затыкать что-нибудь там. Не пригодится.

Привезти из города – Москвы ли, Питера ли – веселящие вещи: свечи, водку, консервы в неперменном томате, как далекий, полустертый привет от прежней жизни, пыльного юга, Джанкоя, Херсона; пуховую подушку. Электричества тут нет, оборвали – значит, ни телевизора, ничего такого, но ведь от них и бежим.

Осень, небо обметано крупными созвездиями, они лежат прямо на печной трубе, на дереве, раскинувшем ветви над дровяным сарайчиком. Кажется, это липа, но зачем нам, городским, это знать, не ложки же из нее будем резать? Не порубим же на поленья? Кто-то пролетел, заслоняя крылом звезды, кто-то хрустнул веткой в лесу, страшно, пойдем в дом.

Ждать зимы, чтобы уснули медведи; впрочем, волки не спят, наоборот, оскалась, ждут городских дураков, деревенские-то съедены. Вилы, дреколье, топор. А еще можно разбрасывать горящую паклю с саней... Но какие сани? Кто их потащит? Лошади стоят в Зоологическом музее, на втором этаже, смотрят карими стеклянными глазами, и моль ест их гривы.

Деревни в снегах: Дремуха, Бабошино, Кафтинский Городок. Есть ли там люди? Где-то там, верстах в пяти, должен быть сосед: всю жизнь торговал какой-то рухлядью, ходил по краю, бил и был бит, устал; тоже купил избу о трех горницах, мечтая пить чай под липой, а пчелы чтоб жужжали, а если люди заявятся, то у него есть ружье с патронами. Бар-Григино, Отдыхалово, Дорищи, Коротница, Наволок, Малые Гусины.

Приходит зима, а мы обмазали печку глиной и уже не очень боимся угара, а мы прятали зипун и сапог, и держим дрова в сенях, и нашли озеро, и пробили прорубь, и жарим картошку на дровяной плите, и едим ее прямо со сковородки. Мы не сии-маем валенки, мы протоптали тропинки туда и сюда, вечером мы читаем при свечке, примотав отвалившуюся дужку очков синей изолентой, газеты бесконечной давности, журнал “Садовод” 1948 года. Яблоня “Китайка золотая ранняя”. Вишня “Надежда Крупская”. Актинидия “Клара Цеткин”. Мы покрикиваем: “Береги тепло!”, моемся редко, поливаем на руки из ковшика. Мы разливаем шорохи: вот это мышь, это сова, это просто ветка хрустнула от мороза, а это далекий трубный клик проносящегося без остановок поезда. Одичали, вот славно. Еще немного, ну?

Иногда мы выходим из ночных снегов к железной дороге посмотреть, как несется на бешеной скорости смертельная лента огня: скоростной поезд либо туда, либо сюда – а потом снова туда. А потом снова сюда. Мы его ненавидим. Он набит людьми, как чурчхела орехами.

Этим людям что-то надо, они куда-то стремятся, они чего-то хотят. Они перемещаются в пространстве. Это отвратительно. Ничего не надо хотеть. Из своей тьмы мы бросаем в поезд камнем и иногда попадаем. Потом нюхаем шпалы и уходим, на четвереньках, бесшумно. Мы хорошо ориентируемся в темноте. Мы знаем, как пахнет север и как – восток.

* * *

Вздригнешь и очнешься от вечерних сновидений наяву, когда в окно “Сапсана”, почти прямо тебе в морду, влетает немаленький булыжник; закаленное стекло звездчато трескается, но держится; хорошая работа, знали, чего ждать, к чему готовиться. Жизнь напомнила, что между точкой А и точкой Б – снега, звери, древние звезды, печной дым, восемь сторон вечности, часы без стрелок. Если бы я была там, в сугробах, там, где красное недолгое солнце падает в елки и все исчезает, всякая красота тонет в ночи и тьме, – то у меня, наверно, тоже чесались бы руки швырнуть камень в быстрого сияющего червя. Может быть, в злобе, может быть, в раздражении... но нет, ведь и злоба, и раздражение – городские слова, городские понятия, рождающиеся там, где толкотня, очереди, тщеславие, нетерпение, соревнование, цель и конец пути. Нет, тут другое чувство, одновременно мутное и тонкое: а вот тебе! бдышь! а не езд! Может быть, это охотничий инстинкт, зовущий броситься на мелькнувшее, на сверкнувшее, на убегающее. Собака, щелкнув зубами, ловит муху; зачем? – а нечего тут. Мальчик давит жука сандалией: тебе не жалко его? – ничуть.

По эту сторону треснувшей, но уцелевшей преграды, отделяющей день от ночи, – лоскут цивилизации, квартал города на колесах – которого? – Москвы, переливающейся в Питер, или Питера, перетекающего в Москву? Это богатый квартал, серебристый и сытый, тут есть вешалка для шуб, тут легко отдадут полтора ста рублей за бутерброд, шестьдесят целковых за стакан чая. Крестьянин не едет на “Сапсане”, житель маленьких городков – Раменок или Колтушей – выбирает тусклые плакаты лязгающих, долго ползущих составов, привозящие их в дымную срань раннеутренней платформы Петербург-Навалочная или, наоборот, Москва-Сортировочная.

Едут тихие чиновники, удивительные люди, владеющие искусством струиться и обтекать, но никогда ничего не говорить прямо: если скажет чиновник что-нибудь прямо, то игре конец, чиновнику кирдык, кощеева игла сломана и переходит к другому владельцу. Слова его зыбки и неопределенны, он не любит ни вопросов, ни фактов, ни жесткой логики, ни точности; ответы его лежат в особом, вероятностном пространстве: спроси, например, чиновника: когда? – ответом его будет: “своевременно или несколько позже”.

Едут бизнесмены; крупного бизнеса тут нет, он улетел на самолете, а мелкий здесь, заказал коньяку и говорит в мобильник громко, чтобы все знали, какой он деловой, и строгий, и умный, и весь на подъеме: “я еще помозгую, а ты дожимай вопрос”. Впрочем, кто чуть покрупней, порой сидит в бизнес-классе, и тогда его так распирает, что в радиусе трех метров находиться невозможно: кто еще не знает, как он отдохнул в своем доме в Испании, как нырял на Филиппинах или катался на лыжах в Австрии, – узнает принудительно.

В шестой вагон – там всегда билетная касса – приходит из бизнес-класса возмущенная дама в белых кружевных сапогах пожаловаться, что и в бизнесе, и в экономе крутят одно и то же кино. Вот дура-то!

Вот дуры едут в первом классе,
Не думая о смертном часе.
Когда настанет смертный час,
На что вам будет первый класс?

(Георгий Иванов)

Кто попроще – спортсмен или офисный сиделец – тот весело торчит в буфете все четыре часа, а потом записывает в “Книгу отзывов”: “Спасибо! Комфортно провели расстояние!”

Еду я. Если сидеть тихой мышью и слушать чужие разговоры, можно узнать много удивительного. Вот сын-садист, лет сорока. В Бологом он начинает названивать матери: “Я скоро буду. Поставь чайник. Я сказал: поставь чайник! Я буду усталым. Да, проехали Бологое. Ну и что? При чем тут остынет?... Ничего не остынет! Я, кажется, ясно сказал: пойд и поставь чайник!!! Ты доведешь меня! Ты желаешь мне зла!” На том конце разговора, оправдываясь, трепыхается несчастная, затурканная мать, очевидно, уже немолодая, покорная, но все еще слабо подергивающаяся.

Проходит по коридору растерянный кудрявый жулик, карточный шулер, должно быть, новичок в этих краях, попавший в скоростной поезд по ошибке: “А вот в картишки. Кто компанию составит? А вот в картишки. В картишки”. Менеджеры среднего звена, оторвавшись от ноутбуков, где они увлеченно рубили виртуальным мечом головы виртуальным чудовищам уже на шестнадцатом уровне, изумленно поднимают глаза: откуда ты, чудо лесное? Таких домотканых мозгов уже не носят, это тебе не южное направление.

Тут же, что-то припомнив, веселый лысый дядька рассказывает своей смешливой спутнице старый советский анекдот: “А вот едет автобус. Вваливается пьянчуга. Такой уже хорошо принявший, но еще с координацией... Садится, расстилает газетку, достает нарезанное сало, лучок, огурчик соленый – все смотрят на него с изумлением. Из-за пазухи вынимает чекушку, стакашок, откупоривает это дело, наливает... Тут кондукторша, которая, конечно, потеряла дар речи от такой наглости, все-таки приходит в себя и кричит: «Что это такое? Это... это что это такое?! Гражданин! А за проезд?!» И мужичок так поднимает стакан, знаете, приветственно, улыбается ей, и – «Ну! За проезд!»”

Нижний Перелесок. Кривое Колено. Мужилово. Малое Бабье. Большое Бабье.

Едут он и она, негромкими голосами терзая друг друга.

– Я тебя спрашиваю: кто тебе звонил? Кто он?

– Скотина. Ты залез в мой мобильник.

– Да, я залез в твой мобильник. Ты мне скажешь, кто он, иначе все кончено.

– Оставь меня в покое. С кем хочу, с тем и говорю.

– Мы должны развестись.

– Да ради бога. Брось меня.

– Я тебя последний раз спрашиваю: кто тебе звонил?

– Никто.

– Врешь.

– **Вру-**

– Я тебя убью.

– Давай убивай.

– Ты скажешь мне, кто тебе звонил?

– Оставь меня в покое. Я свободный человек.

– Ты не свободный человек, а моя жена.

– Ну так разведись.

– Не разведусь, пока ты не ответишь: кто он?

– Я тебе ничего не должна.

– Я тебя убью. Ты этого хочешь?

– Я хочу тишины и покоя.

– Тогда скажи, кто тебе звонил, и мы немедленно разведемся, и будет тебе покой.

- Я ничего тебе говорить не обязана.
- Ты дрянь. Ты гадина.
- Брось меня и найди другую.

Что-то не так в их разговоре, напряженном, медленном, мучительном. Что-то не то с интонацией. Я оборачиваюсь, чтобы украдкой посмотреть на них: ну конечно. Молодые и прекрасные, они полулежат на неудобных сапсановских креслах обнявшись, переплетя руки, переплетя ноги, глаза в глаза. Боже, какая любовь! Запертые в волшебной капсуле, куда никому нет хода, они упиваются звуками голосов друг друга. Благословенны будьте!

Уезжа. Льзи. Влички. Добрая Вода.

Лица недавно разбуженных,
Наспех поевшие рты —
Жизнь на платформах завьюженных
Вынырнет из темноты.

Без ямщиков, колокольчиков,
Бьющих о землю копыт,
С грузом обманутых дольщиков
Русская тройка летит.

Судьбы твои закольцованы
Словно иные круги,
К дальнему взгляды прикованы,
Ближнему вечно враги.

То заметет, то распутица,
Эй, отзовись, кто живой!
Следом история пустится
В скорбный обход путевой.

Долго славянки прощание,
Но с нетерпением ты
Вдаль унесешь обещание
Вынырнуть из темноты.

(Александра Толстая)

Барская Вишерка, Пустая Вишерка. Нижние Гоголицы, Вер Гоголицы. Вялое Веретье.

Есть философия ночи, и Федор Иванович Тютчев – адепт ее. Ночь он понимает как истинную основу бытия, настоящую реальность. День – это лишь “блистательный златотканый покров”, накинутый на страшную бездну, на хаос, на первозданное, ужасное, древнее, беспредельное, бесформенное и безымянное, но родное:

О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —

Под ними хаос шевелится!..

Тютчевский ветер воет “понятным сердцу языком”, и если он выть не перестанет, то хаос зашевелится, в человеке проснется зверь и захочет уйти жить в занесенные снегом леса, пробираться на четырех ногах через бурелом, бродить вокруг брошенного человеческого жилья, разорять что-нибудь и перегрызть что-нибудь, мало ли. Пойдемте, Федор Иванович, одичаем вместе, мне тоже хочется слиться с беспредельным, глухо жаловаться, завывать от непонятных чувств, бросать камнем в озаренные окна, за которыми угадываются дневные звери: вот их шубы, вот их разговоры, вот их рычание, ату их. Я знаю, что вы чувствовали, о чем думали, Федор Иванович, когда в шатком вагоне, в купе, озаренном огарком свечи, слушали мучительный перестук колес, всматривались в темные окна, за которыми шевелилась бездонная русская мгла, которая, казалось, никогда не кончится, никогда не кончится, никогда не кончится – да она и не кончилась.

Родиться в Сортировочной, умереть на Навалочной, меж ними бездна, звезд полна, стозевна и лаяй; меж ними нечто живое и темное; ведь хаос – это тоже жизнь, это то, откуда она родится, то, куда она проваливается.

Глядки. Топорок. Стекляницы. Ужин. Яблонька. Березка. Рассвет. Тупики. Язвище. Кто такие, отзовись!

Воронья Гора, ау! Великий Куст! Отзовись, кто живой! Не дает ответа.

Жизнь не дает ответа, Федор Иванович, разве что иногда врежет здоровенной такой каменной из тьмы в лоб вопрошающему; одинаковый булыжник прилетит и в эконом-класс, и в бизнес-класс, без предпочтений. Или – хотите? – давайте будем цивилизованными и возвышенными, давайте считать, что это как метеорит. Небесный гость, этсетера. Давайте думать, что это не хаос откликается на наш тоскующий зов, а его противоположность, космос: пространство организованное. Такое, где золотые небесные тела ходят по своим золотым орбитам, и слышна музыка сфер, словно невидимая рука перебирает струны арфы в деревне Язвище. Давайте?

Русский наш мир, Федор Иванович, выглядит так: большая тьма, в ней две светящиеся точки: Москва и Петербург. Сбоку где-то, конечно, Европа, но она почти уже не считается. Это в ваше время она была Европой, а сейчас черт-те что, и спасения нет. И дальше во все стороны тоже тьма, и она растет и пухнет. А русская жизнь – это путешествие из Петербурга в Москву, или из Москвы в Петербург, смотря с какой стороны смотреть. Два худо-бедно озаренных блюдечка, два пятнышка света, две платформы, где можно вынырнуть из темноты – отдышаться до следующего погружения.

“Садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать? – Хоть бы в Арзерум поспеть нынче, – отвечал Ашик. – Закрой же глаза. – Он закрыл. – Теперь открой. Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзерума”. (М. Лермонтов. “Ашик-Кериб”)

* * *

На рубеже девяностых, когда старый золототканый покров был сдернут, а новый еще не соткался, плавание через Море Мрака было уделом самых отчаянных. Ночные поезда – сама идея безумного ночного путешествия через тьму – вошли в наши саги и эдды. Герой покидает освещенную платформу, на всякий случай прощаясь с семьей и друзьями. Герой везет с собой мешок золота – обычно в форме пачки долларов, ведь кредитных карточек еще нет в природе, да и золото, как и положено, имеет вполне криминальное происхождение. Герой опоясывается крепким поясом, в который это золото зашито, герой облачается в неприметные лохмотья, герой прячет сокровища в двойной подошве сапог и в этих сапогах спит, как беже-

нец, как бездомный. Ветер задувает последний слабый фонарь на Навалочной, на последнем бастионе на краю бездны. Все. Теперь каждый сам за себя.

Проводник – кто он? Защитник или предатель? После полуночи, когда откроится последний петух и разверзнутся хляби, на перегоне между Любанью и Малой Вишерой откроет ли он мою дверь треугольным ключом, впустит ли убийцу? Как это будет? Дунет ли он на меня отравленным порошком через трубочку? Напустит ли усыпляющий газ? Отпилит ли мне ноги вместе с драгоценными сапогами? Вышвырнет ли мое бесчувственное тело в пустынные волчьи поля, когда вагоны накрелятся на единственном на всю дорогу и необъяснимом повороте? О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно?.. Сюйска. Глутно. Острые Клетки. И бездна нам обнажена с своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами – вот отчего нам ночь страшна!

Герой достает из портфеля волшебный прибор: блокиратор. Это особый замок из твердой красной пластмассы – коробочка размером с сигаретную пачку, с пружиной. Его набрасывают одновременно на ручку двери и на металлическую щеколду, тогда они становятся единым целым, и щеколду невозможно повернуть из коридора треугольным ключом. Вообще-то блокиратор должен быть в каждом купе, но если его украли предыдущие герои, то вы беспомощны и уязвимы, и остается только молиться; так что наш герой возит блокиратор с собой.

Ночь идет долго, ведь в темноте нет времени. Герою нужно выйти в туалет или покурить, как быть? Открыть дверь в коридор, где, может быть, уже ждут его с ножами, топорами, дубинами и пистолетами проводник и впущенные проводником злодеи? Или злодеи – это его соседи по купе, заранее залегшие под дезинфицированные простыни и, затаившись, ждущие своего часа? Герой колеблется... но природа требует своего, и он снимает блокиратор и, страшась, шагает в тусклый коридор.

Теперь пугаются соседи по купе: кто был этот, вышедший? Посланник сил зла? Подсадная утка? Он подслушивал и выведывал? Зачем он ушел вместе с блокиратором? Чтобы привести сюда убийц, верно?

От подушек тяжело веет дихлофосом: морили вшей. Душно и холодно одновременно. Шаги в коридоре. Тащат что-то громоздкое. Вагон содрогается и тормозит. Это конец, да?..

Нет. Пронесло. Это Бологое. Это белеют стены и блещут минареты Бологого.

* * *

От Окуловки в сторону километров десять; да кто их считал, эти километры? Идешь себе и идешь по колдобинам, по выбоинам, некошенная трава выше головы, одинокая сосна на пригорке, разливаемые озера иван-чая. Полдень печет голову, остановишься – замучают слепни и мухи; что же они делали и кого мучали, пока мы не приехали? В обход озера, через полянки с летними маслятами, через ромашки – в деревню, заросшую так, что крыш с дороги не видно. Баба Валя, восьмидесятилетняя старуха, голая по пояс, в ватных штанах и резиновых сапогах, косит траву с молодой мужицкой силой. Мужчин голая баба Валя давно не стесняется, чего их стесняться: она тут всех их родила, пьянь такую. Всех и похоронила.

С ноющим скрипом едет по глубоким колеям автолавка. Она привезла липкие карамельки и китайские джинсы. Становится посреди дороги, выставляет и вывешивает товар; никто не купит, но продавцу все равно.

Баба Лиза, прикрыв глаза от солнца, всматривается: кого это бог послал? А, городские. Скоро тут будут жить одни городские.

Инвалид Егорыч – последний мужик, но, несмотря на это, никакой ценности для баб не представляющий, заходит спросить про новости большой политики. Как там Китай? Китай

очень неплохо, но мы не хотим расстраивать Егорыча и – с полагающимися дипломатическими экивоками – даем понять, что дни Китая, в сущности, сочтены.

Войти в прохладную избу, все еще пахнущую сеном и молоком, хотя все коровы давно съедены; поставить на окно пол-литровую банку с колокольчиками; на полку – “Анну Каренину”, распахнуть маленькое оконце на вечернюю сторону. Остаться тут навсегда. Одичать. Стать темнотой. Или все же нет?

...Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь – тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...

Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой – зовет и манит...
Только скажет: “Прощай. Вернись ко мне” —
И опять за травой колокольчик звенит...

(Александр Блок)

Зажечь свечу. Нарезать, разложить, налить до краев. Жизнь есть проезд из точки А в точку Б. Ну – за проезд!

Зимняя сказка Аркадий Ипполитов

Рождество надо встречать где-нибудь в середине Европы. Чтобы легко сыпался мелкий снег, сквозь него мерцали фонари, под их прозрачным светом теснились узкие старые дома с островерхими крышами, а вдали маячила громада темного собора, с непременным вертепом, мягко убранном еловыми лапами, с Младенцем в яслях, Девой в синем, печальным Иосифом, паром от дыхания быка и осляти, изможденными пастухами и роскошью свиты волхвов, полной узорчатых шелков, тюрбанов, негритят, верблюдов, золота, ладана и мирры. Рождество должно быть тяжелым, зимним, уютным. Рождество надо встречать в Праге.

Теперь о Рождестве в Праге орут все рекламные ролики и видеоклипы, но в самом начале девяностых, когда я впервые в этот город отправился, подобные соображения не были еще столь избитыми. Тогда Прага манила, как “берег очарованный и очарованная даль”, то есть была вполне себе Незнакомкой, а не той разбитной пивоваренной девкой, в какую ее сейчас превратило отечественное телевидение. В Прагу я отправился благодаря тому, что выиграл грант на изучение пражского маньеризма эпохи Рудольфа II, и уезжал туда на целых три месяца – так долго за границей я еще никогда не жил.

Да и вообще еще не был избалован ни поездками в Европу, ни деньгами – грант был довольно скудный, и из Петербурга в Прагу мне пришлось отправиться на поезде. Уезжал я с Варшавского вокзала, был петербургский декабрь, темно уже в четыре, и вокзал был страшным, запущенным и пустынным, как социализм после своего крушения. Таким же был и поезд, до отказа забитый. Купе, куда я вошел, производило впечатление общего вагона: оно было переполнено, и хотя помимо меня там было всего три человека, но у каждого из соседей было столько мешков, баулов и сумок, что, забив до отказа все багажные полки, скарб влез на места своих хозяев, не оставляя им никакой возможности вытянуться. Мои соседи день и ночь сидели в обнимку со своими узлами, похожие на дремлющих, но настороженных сов. Ощущение было какого-то переселения и бегства, что-то вроде гражданской войны. Поезд тоже походил на поезда из фильмов о крушении Российской империи, ободранный и немытый, с только что выстиранной ветошью вместо постельного белья. Жирный заспанный проводник с писклявым голосом ненавидел, казалось, и пассажиров, и вагон, и вообще все, что движется.

В этом во всем мне предстояло три дня пробултыхаться. Пейзаж, мелькающий за окном, был не радостней поезда: постоянная темень, белые сугробы и жалкие станции, скудно освещенные социалистическими фонарями. Я достал “Невыносимую легкость бытия” Милана Кундеры, пытаюсь от всего окружающего абстрагироваться. Удалось мне это с легкостью.

“Невыносимая легкость бытия” у меня была на английском, по-моему, тогда русского перевода еще не было, и это был первый роман Кундеры, который я в своей жизни читал. Роман захватил меня полностью, доставляя прямо физическое наслаждение, поэтому ни теснота, ни нечистоты нужника с холодом наружной зимы, непристойно лезущим через плохо прикрытую дырку очка прямо тебе в задницу, ни тошнотворный запах чесночной колбасы, обильно поглощаемой моими совами, меня не касались. Тем более что совы, сдавленные узлами, были также сдавлены и некоей внутренней заботой, не выпивали, не веселились и не шумели. Только мрачно таращились, уцепившись за свое барахло.

“Невыносимая легкость бытия” меня приподняла и унесла далеко от моего ободранного купе. Я оказался в Праге, в городе изощренной нервозности и доброй сказки, слившем

в себе немецкое тяжеловесное мудрствование с мягкой славянской изменчивостью, вдали маячили Собор и Замок, и персонажи Кун-деры представлялись мне фигурками апостолов в часах Пражской башни, одна за другой выходящими из окошечка, медленно проходящими перед зрителем и тут же, в окошечке напротив, исчезающими.

Особое очарование чтению придавала тонкая ненависть к русским, которой пропитаны сцены оккупации 1968 года. С таким отношением к моей нации я столкнулся впервые в жизни: вся моя жизнь происходила в двойственном разделении русского и советского, и, ненавидя все советское и коммунистическое, как герои Кундеры, я никогда не чувствовал своей за него ответственности. Вроде как я – русский – к СССР и не имею отношения, и все иностранцы, со мной общавшиеся, всегда были в восхищении от русского, а советское презирали, помогая мне чувствовать себя независимым. Кундера же танки в Праге 1968-го называл не советскими, а русскими: роман заставил меня задуматься о том, что для взгляда извне никакого особого различия между Россией и СССР может и не быть и что собственное благополучие не такое уж и оправдание в глазах других людей.

В конце концов, пражане не должны перед советскими танками задумываться о том, что интеллигенции в стране, их производящей, несладко живется. Я даже не то чтобы понял, но физически ощутил, что за чувства должны были испытывать чехи, поляки, венгры, а заодно и финны, эстонцы, литовцы, латыши, узбеки, туркмены, башкиры и чуваша к великой России, несущей им защиту и культуру, да и к народу нашему, который “именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз”. В ненависти Кундеры нет и следа национализма, она направлена только на танки оккупантов и марионеточное правительство, ими посаженное. Но танки-то русские и правительство – прорусское.

Меня завораживали сцены сопротивления Праги, особенно описание девушек в мини-юбках, принимающих намеренно откровенные позы, чтобы унижить изголодавшихся русских танкистов. К девушкам в вызывающих позах Кундера все время возвращается, они, сфотографированные Терезой, проходят через весь роман, и в агрессивной сексуальности героинь пражского августа ощутима агрессивная обреченность. Сопротивление сексуальностью – частый мотив, но я не припоминаю такого поворота, как у Кундеры: описанная им сексуальность направлена не на то, чтобы добиться чего-либо конкретного, голову отрубить или выведать что-то, но только на то, чтобы унижить противника его же скотством. “Вот блядь сука сраная ноги расставила, мандой трясет, я щас тебе...” – представить себя на месте танкиста мне было легко, я сам в армии служил, и изощренная месть, состоящая в том, чтобы силу, воплощенную в самце, довести до того, чтобы сила эта, представ во всей своей неприглядности, стала смешной и отвратительной, вторила образу Праги моей фантазии.

Тем временем поезд все время пересекал границы, как будто перебирая приметы всепримиренческого развала. Границ было множество: русско-белорусская, белорусско-латышская, латышско-белорусская, белорусско-украинская, украинско-словацкая... Поезд тряся, за окном ползли сугробы, совы таращились, и на каждой границе сов и их мешки нещадно трясли, переворачивая в купе все вверх дном. Наконец поезд дотрясся до Львова, который возник передо мной как раз в тот момент, когда герой “Невыносимой легкости бытия” пишет статью о царе Эдипе, ни в чем не виноватом, но все же себя слепотой наказавшем, и рассуждает об ответственности. Во Львове поезд стоял долго, более пяти часов, поэтому я со станции поехал в город.

Львов я видел первый раз в жизни. День казался по сравнению с декабрьским петербургским сумраком светлым и длинным, сугробы пропали, было тепло и сыро, не зима, а ранняя весна. Львов был как будто создан для размышлений об ответственности: некогда центр культуры Восточной Европы, он превратился в город на краю СССР, а теперь – на краю Украины. В школе же меня учили, что моя Родина спасла Польшу и Прибалтику от гит-

леровских захватчиков и возвратила России исконно русские территории. Что ж, Львов, как Выборг, спасенный от захватчиков финских и тоже возвращенный, производил впечатление города, покинутого своими автохтонными жителями и населенного совсем новой популяцией. Новым жителям все в городе чуждо: церкви, дворцы, улицы – пришельцы кое-как приспособили чужое творение, их в общем-то раздражающее, для своих нужд, но город омертвел. Было пустынно и тихо, сквозь размокшую грязь зеленела трава, и Львов, своим барокко предлагая упражнения в осознании ответственности, в то же время был прелюдией к Праге.

Когда я вошел в поезд, смеркалось. Я потрясся дальше, снова за окнами темень, совы напротив таращатся, свои кули обнимая, я продолжаю Кундерой от всего отгораживаться, и тут, уже в конце романа, вдруг в описании одного из очередных любовных приключений Томаша я натолкнулся на фразу, которая по-русски звучит так: "...он называл одной студентке театральной школы, на редкость очаровательной девушке, чье тело так ровно загорело где-то на нудистских пляжах Югославии, что казалось, ее там медленно вращал на вертеле необычайно точный механизм". По-английски "вращал" звучит как *rotated*, и слово это, означающее не только вращаться, но и чередоваться, ярко вспыхнуло в моем мозгу, осветив то, что в нем лежало смутной грудой, то есть то, зачем я в Прагу и ехал, – пражский маньеризм. В его творениях есть притягательное и странное ощущение отстраненного и холодного вращения, исходящего от наготы мифологических персонажей, как будто рассчитанно и механистично со всех сторон демонстрирующих себя зрителю, постепенно увлекая его в одуряющее эротическое вертиго, постоянное движение, не дающее покоя, заставляющее тебя почувствовать, как из-под ног уходит твердь. Головокружение от созерцания пражских маньеристов возносит тебя на дух захватывающую высоту, в невесомость, ты превращен в нечто, легкое, как пух, но все же воспоминания о собственной тяжести не оставляют тебя, ты помнишь, что в любой момент снова можешь обрести присущий тебе вес, тогда тебя потянет вниз, и грохнешься ты с этой высоты, разбившись в лепешку, как героиня фильма Хичкока.

Слово *rotated*, вспыхнувшее в мозгу, как нельзя более точно соответствовало рудольф-финской Праге. Как раз в тот момент, когда я, внутренне просветленный своим открытием, подскочил на своей полке и уселся, послав вдохновенный взор в пространство, который тут же уткнулся в совиные глаза напротив и угас, мы приехали в Чоп. На украинско-словацкой границе досмотр был самым затянутым и муторным, в купе даже отвинчивали панели на стенках и потолках, долго там шарили и ничего не находили. Наконец досмотр закончился, поезд проехал еще чуть-чуть, остановился уже на словацкой границе, здесь все прошло очень быстро, и, когда мы снова тронулись, я вдруг с удивлением обнаружил, что я в купе остался один – да и во всем вагоне, – и только тут я догадался, что мои попутчики были челночниками, то есть новой нарождающейся отечественной буржуазией, пока еще довольно мрачной и серьезной, как и вообще серьезен любой эмбрион. Вестники свободы после падения Берлинской стены.

Освободившись от кулей и кульков, поезд поехал быстрее и легче, и, возбужденный своим *rotated* и тем, что я уже за границей и с каждой минутой Прага становится все ближе и ближе, я не мог уснуть. За окнами была чернота, но сугробы пропали, только кой-где валялись лоскутья снежка; пустынный и ободранный вагон был полностью в моем распоряжении, и я бесконечно ходил курить в тамбур, не в силах ни спать, ни бодрствовать.

Возвращаясь в очередной раз из тамбура, в состоянии почти сомнамбулическом, мой сонный разум вдруг как будто на что-то налетел, споткнулся и грохнулся прямо на пол, набив со всего размаха шишку: из противоположного конца коридора на меня стремительно шло яркое красное пятно, контрастировавшее с бесцветностью моего путешествия, как дикий вопль. Кричащее пятно наступало и, приблизившись, оказалось очень красивой китайкой, одетой в пальто цвета киновари. Красавица стремительно сквозь вагон мчалась, схватив за руку и буквально таща за собой китайского юношу, и экзотичность этой пары, подчеркнутая

заурядной нищетой заплеванного вагона, встряхнула меня, как звонкая пощечина. Китайка была вылитая маньчжурская принцесса Есико Кавасима из фильма Бертолуччи “Последний император” – восточный бриллиант, авантюристка и шпионка, – черты ее лица были резкие и крупные: нос с легкой горбинкой, четко очерченные губы, большие и раскосые глаза. Эта красота была злой и хищной, той китайской красотой, какой бывают красивы именно маньчжуры, китайцы с Севера, в отличие от более округлых и сладких южан. На южанина походил ее спутник, юноша, почти мальчик, лет так семнадцати, и он был по-детски мил, маленький китайчонок – китайские дети самые хорошенькие на всем белом свете. Детскость его подчеркивало то, что Есико, будучи явно ненамного его старше, опекала его с решительностью не то чтобы даже матери, а тигрицы, схватившей зубами за шкуру своего детеныша. Красоте китайки вторил красный цвет ее пальто – убийственно-открытый красный цвет, какой в природе редко встретишь, разве что на иконах да на картинах Рубенса. Как киноварная ртуть, китайка была хищной и агрессивной, похожей на золотую рыбку, но не на тех вялых губастых дур, что мокнут в комнатных аквариумах, а на какую-то золотую пиранию.

Пролетев мимо, китайка бросила на меня взгляд, безразличный и неприязненный, – таким же взглядом она одаривала двери, – ян убрался в свое купе, на ворох ветоши с “Невыносимой легкостью бытия”, подходившей уже к концу, к смерти обоих героев. Через некоторое время я опять поперся курить и с удивлением увидел, что китайка с китайчком сидят в одном из опустевших купе, причем она что-то жарко ему говорит, в чем-то убеждая, на языке мне совершенно непонятном, наверное, китайском. Она опять смерила меня взглядом, но теперь уже не безразличным, а прямо-таки полным злой ненависти, как будто во мне была угроза, причем даже не ей, а мальчику, ею охраняемому. Меня все это возбудило донельзя, сомнамбулизм мой испарился, спать совсем уж не хотелось, но и читать я не мог, все время красное пятно перед глазами стояло. Тем временем мы приближались к словацко-чешской границе.

Поезд встал, снова появились пограничники, теперь лишь мельком взглянувшие на мой паспорт. Опять отправившись курить, я заметил, что в купе моих китайцев сидят целых три пограничника и китайка с ними очень страстно беседует, судя по всему – на чешском, на котором говорит бегло; мальчик же молчал и языка, кажется, не понимал вовсе. Беседа явно была тревожной, и через некоторое время мимо меня прошли все вместе, и словаки, и китайцы, куда-то направляясь. Поезд все еще не двигался, в пустом вагоне я был один – проводник после Чопа вообще ни разу не появился – стоял в коридоре и смотрел в окно. Станция была какая-то совсем мизерабельная, из моего окна был виден самый угол вокзала и бетонные мелкие постройки, склады-сортiry, вырванные из тьмы скудным светом вокзального фонаря. Круг синюшного света лампочки вносил в эту убогость что-то сюрреальное, настороженное, кафкианская декорация, да и только, поэтому маленькая фигурка китайчонка, вдруг в кругу света возникшая, меня совсем не удивила. Мне очень хорошо было видно, как, пробежав сквозь свет, китайчонок метнулся за бетонный сарайчик и застыл, пытаясь спрятаться. Вся эта сцена, возникшая в обрамлении окна поезда, была отыграна с блеском фильма “Третий человек”, так что у меня дух захватило, и страшно захотелось как-то помочь бедняге и даже за него пострадать, вступить в конфликт с властью: спрятать его в своем чемодане, а если я его спрятать не могу, то пусть, по крайней мере, пограничник войдет, спросит меня, не видел ли я китайца, и я, конечно, укажу ему в противоположную сторону... Поезд в этот момент тронулся, и китайчонок со своей трагедией остался позади, пропал, и никто не вошел, ни о чем меня не спросил, я никому ничем не пригодился, и никак, никоим образом больше со мной красавица в красном пальто не будет связана.

Утром я был в Праге. Прага меня встретила одним из своих аттракционов, весьма подходящим под определение “тонкой ненависти”: памятником освобождения Праги русскими войсками. Скульптурная группа состоит из солдата русского, восторженного, с автоматом и

в развевающейся шинели, и солдата чешского, который, чуть задрал одну ногу в балетном порыве и тоже с автоматом за спиной и в развевающейся шинели, готов прильнуть устами к щеке (или устам) своего освободителя. Русский стоит дурак дураком, что делать – не знает, не привык у себя на родине к такому обращению. Чех явно русского провоцирует, одной рукой обнимая освободителя за плечи, а другой, отведенной за спину, сжимая пук чугунных цветов, – типичная сцена соблазнения. Очень сильная вещь, пражане вроде бы сносить памятник не собираются, и правильно делают; не могу поверить, что чех, эту статую создавший, был столь наивен, что ничего в виду не имел, как-то уж эта группа слишком отчетливо связана с рассказом Кундеры о сексуальной агрессивности мини-юбок.

Пражское мое жилище – я должен был отбивать время своего гранта в здании, принадлежащем соросовскому Центрально-Европейскому университету, – было под стать памятнику: громадная многоэтажная брежневская уродина, бездарная, как кусок бетона на заброшенной стройке. Во внутренностях этой уродки, набитой аспирантами бывшего соцлагеря, в крохотной комнатке с душем мне предстояло прожить три месяца, что не слишком меня вдохновляло. Делать уже было нечего, не бежать же обратно, и, довольно быстро покончив с бюрократическими процедурами, я отправился в город. Оказалось, что брежневская уродина стоит посреди девятнадцативековой застройки и до центра Праги – два шага. Мгновенно эти два шага преодолев, я оказался на улочке, полной дворцов, причем чем дальше, тем дворцы становились старше и барочнее, а улицы уже и живописнее. Я тут потерялся и, не без удовольствия плутая в этом лабиринте, вдруг оказался перед охренительнейшим барочным дворцом. Как гласила табличка рядом, это был дворец Клам-Галлас, и перед порталом дворца, под ногами огромных мужиков, держащих на плечах балкон с вазами, очень тяжелый, поэтому мускулы на их телах угрожающе вспухли, готовые в любую секунду лопнуть, а взгляды, на тебя устремленные сверху, были строги и взыскательны, как у мучеников, я понял – участь моя решена.

Прага засосала меня. Закрутила, завертела. Я, как поезд после Чопа, сбросил с себя все кули и узлы, и Прага наплатила меня легкостью и счастьем одиночества, похожим на неведомость. Удовольствовавшись озарением *rotated*, подаренным мне Кундерой, я понял, что мои обязательства перед рудольфинским маньеризмом выполнены, и, наплевав на все занятия, я целыми днями шлялся по Праге, в свою брежневскую уродину возвращаясь поздно, чтобы только спать завалиться, так что ни с кем из обитателей уродины не познакомился и не общался. Я растворился в городе, а город вошел в меня и все время бередил меня, каждую мою клеточку, и плоть, и кровь, и душу, ибо “живейшее из наших наслаждений кончается содроганием почти болезненным”. Снега не было, но была зелень еловых ветвей в церквях, и вертепы, и ангелы на куполах и колоннах, вся полагающаяся рождественская красота. Город мне не надоедал, мне хотелось всё постоянного повторения встреч с ним, а желание повторения и есть счастье. Меня этому тоже Кундера научил.

Все обязательства растаяли, исчезли, а вместе с ними исчезла и реальность. Я погряз в безделье. Мне нравилось поздним вечером, когда толпа туристов пропадала с улиц и даже Карлов мост был пустынен, стоять на мосту над Кампой, освещенной желтыми кругами фонарей, и слышать звонкие гортанные голоса девушек и юношей, прогуливающих внизу, вокруг площади, своих собак. К юношеской звонкости примешивалась особая славянская мягкость, напоминавшая мне о “«Адзью» с призывным и протяжным «у»” из “Смерти в Венеции”, и звук голосов сливался с матовым блеском старинной мостовой, высвечиваемой фонарями, с темными силуэтами святых на мосту на фоне черной воды и с вывеской кофейни под названием “У трех страусов”, здесь же, под мостом, и находящейся. Голоса, свет, святые, страусы – все было совершенно и ирреально.

Мне страшно захотелось перечитать “Зимнюю сказку” Шекспира по-английски. Все же эта пьеса – самая прекрасная мифологема Богемии, да и название у нее замечательное,

сыплется мелкий снег, и все пропитано сентиментальным умилением, являющимся оборотной стороной жестокости, хотя в пьесе герои глуповаты, муж жену от статуи отличить не может, сюжет нелеп, и у Шекспира Богемия находится на берегу моря. С целью разыскать “Зимнюю сказку” я отправился в библиотеку Европейского университета, находящуюся в недрах моего бетонного жилища, довольно обширную. В основном ее заполняли книги общественно-политические, но был также большой раздел искусствоведения и несколько шкафов художественной литературы. Подборка была типично американская, искусствоведческая литература состояла в основном из опубликованных диссертаций американских университетов, вроде монографии о символике полового члена Младенца Иисуса в ренессансной живописи. “Зимней сказки” я не нашел, равно как и Шекспира вообще, но зато целая полка одного из шкафов была уставлена английскими переводами Жана Жене.

Жене я и удовлетворился, набрав его романов. На русский тогда еще не было переведено ни одного, и я Жене знал только по фильму Фассбиндера “Керель”. Набрал я также и университетских публикаций, тем более что темы их были мне в новинку – в эрмитажной библиотеке ничего подобного не было. Искусствоведческие монографии оказались заурядной диссертационной белибердой, ничем, кроме заглавий, не отличаясь от белиберды отечественной: какое-то бормотание про то, что детский член, являясь центром во всех Мадоннах с Младенцами и Святых Семействах, отражает фаллоцентричность ренессансного мира, несколько, правда, плохо стоящую. Скукотища. Зато завораживающий эротизм прозы Жене растворился в воздухе Праги, смешался со звуками голосов на Кампе и светом фонарей, и, так как именно в этом городе я впервые прочел “Кереля” и “Богоматерь цветов”, эти романы оказались для меня с ним намертво связаны, так что, приехав в Прагу, я тут же вспоминаю о Жене, а когда читаю Жене, то перед глазами встает Прага, – так в нашем сознании непостижимым образом переплетаются малосовместимые вещи, город и вкус печенья, например. Как в одном итальянском фильме герой сетует на то, что когда он занимается любовью, то все время думает о Сталине, и никуда ему от этого не деться.

Одним из любимых моих мест стал Воянов сад, находящийся в самом начале Мала Страны, у подножия холма. Сад внедрен в город и не бросается в глаза, так как огорожен высокой белой каменной стеной, которую легко принять за продолжение стен домов, и входа в сад не заметить. В стене, его отгораживающей, и заключена главная прелесть: Воянов сад – средневековый закрытый сад, *hortus conclusus*, “Вертоград моей сестры, Вертоград уединенный”. В нем звучат слова из “Песни Песней”: “Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник”, – но от Средневековья только стена и осталась, зайдя за ограду, оказываешься в небольшом и аккуратном английском саду, никаких стриженных деревьев. Но стена же все и определяет: Воянов сад воплощал мою пражскую отгороженность, и мне в нем было очень хорошо, я часто заходил в него покурить, погулять, посидеть, почитать – к тому же стена определяла и особый микроклимат сада. В Вояновом саду было очень тепло.

Особенно меня поражал фонтанчик, бьющий в небольшом каменном бассейне. В самом фонтанчике не было ничего особенного, но работающий фонтан в январе – в этом была какая-то для меня, приехавшего из сугробов, особая привлекательность. Ведь о юге ничего не свидетельствовало: снега не было, но деревья стояли голые, вокруг была мягкая, с зеленью травы, но зима. Не средиземноморская, а все же богемская, и зимний фонтан – в этом была для меня привлекательная странность. К тому же в бассейне плавали большие и ленивые золотые рыбины, и ярко-красные пятна своим тихим шевелением в мелкой чаше фонтана Воянова сада в самом сердце серовато-сырой январской Праги гипнотизировали меня, заставляя вновь и вновь к ним возвращаться.

В начале февраля я почувствовал какую-то усталость. Прага измотала меня, как слишком интенсивный секс: повторения еще хочется, но уже не можется. Как следствие импотенции, наступила тоска, а вместе с ней и желание что-то наконец делать, выйти из эйфории, заставлявшей меня двигаться по кругу, как “В прогулке заключенных” Ван Гога: так, изможденные слишком страстной любовью, мы, любовь не утратив, тем не менее пытаемся оторваться от объекта страсти, заняв мозг чем-то другим; зато если объект страсти попытается сделать то же самое, наша любовь и в ненависть может превратиться, ибо нет ничего эгоистичнее страсти. Прага меня бросать не собиралась еще целый месяц, поэтому я позволял себе проявлять некоторое к ней безразличие. Еловые лапы и вертепы из церквей уже давно исчезли, и ударили заморозки, стало холодно. Я стал больше времени проводить в музеях, библиотеках, ночных клубах и даже завел какие-то знакомства. Зайдя в Воянов сад, я обнаружил свой фонтан выключенным, воду в бассейне замерзшей, а красных рыбок в лед впаянными, тупых и недвижимых. Я решил, что они умерли.

Как раз в это время я наконец-то собрался дойти до места, давно меня манившего, но от которого меня все время отвлекали другие встречи. Этим местом была вилла Звезда, или, как чудесно звучит это название по-чешски, *villa Hvězda*; и “вилла” по-чешски будет *letohrddek*, “летоградек” – прямо вертоград. В Праге я специально искал какую-нибудь литературу о *Hvězda*, но ничего не нашел; во всех архитектурных путеводителях по Праге, иногда очень неплохих, которыми была набита библиотека моей брежневки, вилла только упоминалась, но не воспроизводилась, поэтому, идя на встречу с ней, я даже не знал, как она выглядит. Знакомство по объявлению, но без фото.

Судя по карте, путь мне предстоял неблизкий. В Праге я почти не пользовался транспортом, считая поездки, как и общение с кем-либо, изменой ей, любимой, и до *Hvězda* решил дойти пешком, тем самым пытаюсь раздуть утихающий пыл наших отношений. На встречу я отправился рано, и февральский день был бесцветно-серым и зябким. Быстро миновав Старе Место и перейдя Карлов мост, всегда днем туристами кишачий, сквозь Малу Страну я стал подниматься вверх, в Градчаны, снова испытывая на себе все чары любимой, оставлявшие меня теперь не то чтобы безразличным, но тупым, в чем, конечно, надо не любимую винить, а себя самого. Уже позади остались Тосканский дворец, Страговский монастырь и монастырь Лорета; любимая подустала, выглядела холодно и пусто, как будто грим с лица стирала. Справа проплыли башни Бржевновского монастыря, город обратился в пригород, пошли современные и ардекошные виллы времени цветаевской Праги. Становилось все более и более пустынно, и о городе говорила только трамвайная дорога, все время меня сопровождавшая. Трамвайные пути, бегущие со мной рядом, подчеркивали безнадежность февральской серости, показывая мне, во что наши с Прагой отношения превратились – в скуку накаченных рельс и убогий быт в безликой многоэтажке.

После Бржевновского монастыря идти было еще порядочно, но день оказался не слишком холодным. Город совсем сгинул, слева передо мной открылся большой пустырь, а справа – низкая каменная белая ограда, из-за которой виднелись купы старых деревьев. Стена-ограда, очень простая, напоминала мне стены моего *hortus conclusus*, Воянова сада, и выглядела очень привлекательно. Трамвайные пути перед небольшими и безыскусными воротами, служившими входом в сад, за стеной виднеющийся, закончились, образовали петлю, и ослабели, и легли, издохнув. Трамвайное кольцо указало мне на то, что за оградой и хоронится моя *Hvězda*, а пустырь слева – историческая достопримечательность, поле Белой горы, *Bílá hora*, при которой случилась знаменитая битва. Пейзаж был нерадостный, бесцветно-серый, грязь поля Била хора прикрывала тонкая простыня снега, не белого, а какого-то “билого”, напоминая саван, изъеденный молью, а также то белье, что мне выдал писклявый проводник в моем поезде.

Я вошел в низенькие ворота и оказался на широкой аллее, обсаженной старыми ветлами, погребально свесившими свои ветви. На всем лежал прохудившийся белесый саван снега, и в перспективе аллеи возникло какое-то сооружение, большое и тоже белесое. Я разглядел высокую трехэтажную белую мазанку под темной островерхой крышей, довольно жалко выглядящую. Мазанка и мазанка, с неровно прорубленными дырами окон, типичный дом зажиточного центральноевропейского крестьянина, только очень большой. Архитектура была столь обыденна, что примет времени как бы и не имела: может быть, девятнадцатое столетие, может быть, вчера построена, а может – в восемнадцатом веке; шестнадцатый мне даже в голову не пришел. Ничего, кроме мазанки-многоэтажки, больше вокруг себя не видя, я к этому сооружению и направился, вошел в ворота еще одной, низенькой ограды, его опоясывающей, и каково же было мое удивление, когда перед заурядной дверью этого зауряднейшего дома я увидел табличку, сообщавшую мне, что это *Hvězda* и есть. Я обалдел настолько, что сначала табличке не поверил, даже попытался дом обойти, заглянуть за него, чтобы достать обещанную мне энигму маньеризма, теперь же от меня скрываемую; ведь не могли же чехи быть до такой степени националистами, чтобы этот простой до убогости фасад выдавать за “интереснейший памятник архитектуры маньеризма”. Оказывается, что могли, никакой энигмы явно не было, мазанка, как оказалось, стояла на самом краю крутого обрыва-оврага, вроде как на краю мира, и обойти здание было довольно сложно. Да и пытаться не следовало, не оставалось никаких сомнений, что мазанка мазанкой была что спереди, что сзади, как ее ни поверни. Я расстроился так, как расстроился Дориан Грей, когда его любимая столь бездарно сыграла в пьесе, что у бедняги не было другого выхода, как только в любимую плюнуть и тем довести до самоубийства, – ведь нельзя же так разочаровывать; я чувствовал себя обманутым, обчищенным и очень усталым. До такой степени, что сначала даже думал не заходить внутрь, тем более что все та же табличка рассказывала мне, что внутри находятся панорама битвы при Била хора и мемориальный музей Миколаша Алеша, художника девятнадцатого века, чешского Сурикова, чей невнятный историзм мне – теперь, после предательства *Hvězda* – ни в малейшей степени не был интересен.

Скорее от отчаяния, чем из любопытства я все же вошел в двери, купил билет в кассе, расположенной в беленых сенях, шагнул за порог этих сеней, опять же напоминавших о зажиточном кулацком быте, и тут же, за порогом, провалился, полетел куда-то – вверх, не вниз. Твердь ушла из-под моих ног, исчезла вместе с моим бранным телом, а дух вышел из меня, доказывая, что он во мне есть, и вознесся, и там, в вышине, где телу делать было нечего, поэтому и брать его с собой совсем не стоило, застыл изумленный.

Все дело было в потолке. Потолки виллы были украшены изумительными гротесками из стука, орнаментами с вплетенными в них фигурками уродов и людей, красавиц и чудовищ, лепными рельефами с мифологическими сценами. Практически нигде, кроме как на потолках, они не сохранились, но качество лепнины было удивительным, даже не итальянским, а каким-то античным, прямо Золотой дом Нерона. Я испытал то же, что пережил вазариевский пастух: Вазари, описывая открытие античных гротесков, рассказывает о том, как некий пастух, пася своих коз, вдруг увидел, что одна из его подопечных куда-то провалилась. Пастух за ней полез, оказался под землей, и когда он в подземелье огляделся, то пришел в ужас от чудовищной красоты, его окружавшей. Козу бросил и, завопив благим матом, ибо подумал, что побывал в царстве дьявола, с воплями бежал до самого Рима. Так на свет появились каприччи.

Каприччи *Hvězda* были красоты несказанной. Заколдованный фантастическими фигурами, я перебирался из зала в зал, и все новые сцены разворачивались надо мной – или передо мной, так как я уже сказал, что дух мой вознесся, вроде мне и голову не надо было закидывать, – и зал следовал за залом, их было невероятное множество, меня удивило, что такое множество залов влезло в небольшой, в общем-то, объем здания. Разверзлось про-

странственное чудо, своды и стены раздвинулись, и череда фавнов, нимф и гиппокампов меня кружила в своей пляске, пока наконец я не понял, что просто хожу по кругу, так как залы, все странной неправильной формы, бегут вокруг основной, окон лишенной. Вилла-то сделана в форме шестиконечной звезды – подходя к вилле, я этого не сообразил, так как фронтально фасад выглядел заурядно, просто плоскость, – и строителям пришлось следовать за причудливостью плана, продиктовавшего необычность интерьера. Сюжеты я разгадать не мог, но гротески мне все время что-то повторяли на певучем и очень мудром языке о каких-то тайнах, и только бедность и тупость моего сознания мешали понять их речь. Похожее чувство я испытал ночью, в деревне: все было мертвенно тихо, но вдруг я услышал звук множества мелодичных голосов, очень быстро что-то между собой говоривших. Пораженный и даже испуганный, я стал осторожно к ним приближаться и оказался вблизи речки, скакавшей по мелким камешкам, – голоса обернулись журчанием воды, и только. Как только я отошел, голоса опять заговорили, певуче и таинственно. Это были голоса ундин, виллис, русалок, и туманное волшебство озерно-речной мифологии с ее Одеттами, Одилиями, Жизелями и девой Февронией обрело плотское воплощение. В *Hvězda* я снова дев воды услышал.

Гротески были только в залах первого этажа, выше были обычные комнаты, в которых скучно рассказывалось о художнике Алеше; внизу же была развернута панорама битвы при Била хора. Заурядность музейного содержимого меня отрезвила, я подумал, что, может быть, гротески и не так уж хороши, просто во всем виноват гиппокамп – часть лимбической системы моего головного мозга, – формирующий мои эмоции и консолидирующий память, то есть обеспечивающий переход памяти кратковременной в память долговременную, и лишь неожиданность увиденного, подчеркнутая неприхотливостью фасада, вызвала вертиго *Hvězda*, в то время как все то же самое в Италии или даже в замке в Градчанах оставило бы равнодушным.

Я был не прав. Выйдя наружу, я снова оказался на широкой аллее, засаженной старыми ветлами. Потеплело, пошел мелкий снег, спускались сумерки, и аллея, ничуть не изменившись, преобразилась, превратившись в лес из прекрасной зимней сказки. На покатых, опущенных книзу широких ветвях старых деревьев сидели чешские вилы в шубках, и мне, как Гермione в шекспировской пьесе, хотелось спросить их: “О чем это вы шепчетесь?” Праздный вопрос, потому что было ясно, вилы шептались о том, что рассказывал маленький Мамиллий, обреченный на скорую смерть от тоски: “Зиме подходит грустная. Я знаю одну, про ведьм и духов”.

Вторя Шекспиру, вилы продолжали: “Жил бедный человек вблизи кладбища. Я буду шепотом, совсем тихонько, чтобы сверчка не напугать – он спит”.

Было тихо, как будто всё боялось разбудить сверчка, никого не было, и вдали аллеи я увидел ярко-красную точку, быстро идущую женщину в красном пальто. Направляясь к выходу, она убегала от меня, я прибавил шаг, успел разглядеть черные блестящие волосы, волной лежащие на поднятом воротнике, но красная точка мгновенно исчезла за воротами сада, так что когда я из ворот выбежал, то не увидел ничего, кроме трамвайных путей, “билого” пустыря Белой горы и мелкой манки сыплющегося сверху снега. Обратно я поехал на трамвае.

Холода прошли, в начале марта очень смутно повеяло, как у нас в конце апреля, весной. Мне уже вскоре предстояло уезжать, и, в последний раз зайдя в Воянов сад, я увидел, что лед в бассейне фонтана растаял и красные рыбы снова тычутся в каменное дно своими тупыми губастыми рыльцами.

“Ну, как жизнь, звезда?”

Алла Демидова

Помню, когда мы только начинали, у нас возник разговор о славе. Нас никто не знал, но мы хотели прорваться. И тогда Высоцкий сказал, что известность нужна, чтобы пускали в рестораны, а я возразила, что слава необходима актеру только для того, чтобы узнавали проводницы поездов.

Дело в том, что какое-то время я почти жила в “Красной стреле”, когда снималась на “Ленфильме” в “Степени риска” и “Живом труп”. Это было время ранней Таганки. Спектаклей в репертуаре было мало, занята я была практически во всех, и Любимов нас отпускал на съемки только в “свободное от работы время”. Как нетрудно догадаться, времени этого почти не было. Выходной день в театре был по средам, а у меня на вторник с билетами была проблема, и если нужно было ехать неожиданно, то нужно было договариваться с проводницей – естественно, за деньги, – чтобы она пустила на свое служебное место или если кто-нибудь из пассажиров опаздывал и его место освобождалось. Но желающих безбилетников было много, и предпочтение оказывалось знаменитостям. Иногда случались смешные истории. Одну из них рассказывала актриса Валентина Талызина, как однажды ее, безбилетную, опоздавшую на свой поезд, узнала сердобольная проводница “Стрелы” и приютила у себя в купе, а через какое-то время, внимательнее присмотревшись, разочарованно вздохнула: “Нет, все-таки не Алиса Фрейндлих!”

Меня тоже вечно с кем-то путали или вообще не узнавали. Хотя “Щит и меч” уже повсюду шел на экранах. И “Дневные звезды”, и “Чайковский”. Но сами слова – “Ленфильм”, “актриса”, “киносъемки” – действовали на железнодорожных работников безотказно. И обычно какая-нибудь купейная полка с сыроватым, еще пахнущим прачечной бельем обязательно для меня находилась. Тогда я так уставала, что засыпала мгновенно. И ночь в поезде пролетала как один миг. Впрочем, не всегда.

Однажды мы вдвоем – Володя Высоцкий, Ваня Дыховичный и я – поехали в Ленинград. У них там был какой-то совместный концерт в очередном НИИ, а у меня – дела на “Ленфильме”.

Судя по моим дневникам, это было в июне 1975 года. До этого Высоцкого долго не было в Союзе, он в январе уехал к Марине Влади во Францию и вернулся только в конце мая, и то по моей посланной ему туда телеграмме, что, мол, если не приедешь сейчас, потеряешь роль Лопахина. Дело в том, что в это время Анатолий Эфрос у нас на Таганке заканчивал репетировать “Вишневый сад”. Высоцкий откликнулся, приехал 26 мая и сразу явился на репетицию. Приехал он с отросшей бородой, которая меняла его лицо: сказал, что отпустил ее специально для роли купца. Эфрос посмеялся, но посоветовал бороду сбрить, объясняя, что Лопахин в его спектакле не классический, привычный купец, а совсем другое лицо – он из того нового поколения купцов, которые собирали картинные галереи и покупали авангардных художников. “У тебя тонкие пальцы, как у аристократа, у тебя нежная душа” – так Петя Трофимов говорит про Лопахина в пьесе. Тем не менее Высоцкий дня два красовался с этой бородой. И Валера Плотников его даже успел с ней запечатлеть на свой знаменитый фотоаппарат.

Но 28 мая он явился на репетицию бритым, тем более что нужно было играть еще Гамлета, которого стали тоже репетировать. Репетиции шли каждый день – то “Вишневый сад”, то “Гамлет”. Высоцкий жил тогда у Вани Дыховичного. А так как в репетициях мы были заняты вдвоем, то и время после них часто проводили вместе.

Из дневников 1975 года:

“и июня... Я опоздала на репетицию минут на двадцать. Эфрос ничего не сказал. После обедали у Дыховичного. Раки. Вспоминали с Высоцким, каких прекрасных красных раков в синем эмалированном тазу приготовил нам Карелов (режиссер «Служили два товарища», где мы снимались вместе с Володей) в Измаиле. Вспоминали, как трудно было добраться до Измаила поездом, как снимали там бой, как при взрыве мне чуть не обожгло лицо, как, чтобы нас отпустили сниматься, мы упросили Карелова снять и директора театра Дупака. Хохотали. Вечером «Гамлет» – хорошо.

12 июня. Репетиция «Сада». Высоцкий быстро набирает, хорошо играет начало – тревожно и быстро. После этого я вбегаю – лихорадочный ритм не на пустом месте.

Собрание. Любимов кричал, что покончит со звездной болезнью у актеров – съемки, концерты, поездки; в театр, мол, только забегают.

Вечером «Гамлет». С Володей друг другу говорим: «Ну, как жизнь, звезда?»

Когда собрались в выходной день Таганки в Ленинград, выяснилось, что билетов на поезд, как всегда, в кассах нет. Достал какими-то своими путями Высоцкий. У него всюду были свои люди.

Ехали втроем в купе и всю ночь болтали.

Сначала мы в два голоса с Ваней пересказывали все репетиции Эфроса в “Вишневом саде” (Дыховичный – Епиходов, Высоцкий – Лопахин, я – Раневская). Мне, главное, надо было внушить Володе, что начало спектакля нужно играть очень тревожно, нервно и быстро (как известно, первые реплики у Лопахина) – я в эту атмосферу “впрыгиваю” – так же лихорадочно и тревожно. Потом, конечно, перешли на “Гамлета”. Мы его играли уже пятый год (Высоцкий – Гамлет, Дыховичный – Розенкранц, я – Гертруда), и надо было уже что-то менять в манере исполнения.

Вспоминали время, когда у Ивана Володя жил вместе с Мариной. Как завтраки переходили в обеды, как Оля Полянская – первая жена Вани – поначалу стеснялась выходить к завтраку без макияжа и в халате, в отличие от Марины, которая до полудня оставалась в пижаме или ночной рубашке. Вспоминали, как ездили все вместе обедать в ресторан “Архангельское” и как нас туда не пускали, и тогда уже толковывали друг другу, что слава нужна только для того, чтобы “пускали”. Хотя там с нами была Марина Влади.

Потом они с Ваней стали перебирать песни, которые будут петь на концерте, и я под их “что за дом притих” и “ради бога, трубку дай” – заснула, а они, как признались мне уже утром, не сомкнули глаз ни на секунду. Но я знала, что и Володя, и Ваня спят по четыре часа в сутки (“как Наполеон” – каждый раз добавляли они) и что Володя в ночное время пишет свои песни, а Ваня жаловался на безделье, и мы оба советовали ему тоже что-нибудь сочинять.

В Ленинграде долго не могли найти такси. Пошли пешком по Невскому к друзьям Высоцкого – Кире Ласкари и Нине Ургант (они тогда были женаты). Пришли без телефонного звонка, неожиданно. Открыл заспанный Кирилл, обрадовался, проводил нас в кухню, сказал, что Нина еще спит. Накрыл стол – чай, кофе и свежий творог. Володя всегда быстро ел и потом что-то рассказывал смешное про студенческие годы. И как изображал крестьянина, который пришел на вокзал и требует у кассирши билет. Ему отвечают, что билетов нет, но он не может понять, как это нет, и добился своего. А Кирилл смешно показал Высоцкого, когда тот был студентом и ходил в широких клешах и тельняшке. Когда мы доедали творог, вышла в ночной рубашке Нина Ургант с маской на лице из этого же творога. Я знала Нину раньше – мы вместе снимались в “Дневных звездах”, она мне нравилась как актриса, – но я тут же перестала есть творог, а ребята, смеясь, доели и сказали, что сейчас примутся за Нинино лицо. Было очень весело, молодо, дружно, и казалось, что так может продолжаться до бесконечности. Но за мной приехал Илья Авербах, и мы с ним поехали на “Ленфильм”.

Вечером Володя с Ваней заехали за мной к Авербаху. До поезда было какое-то время. Ксения Владимировна (мама Ильи) накрыла стол, и опять пошли бесконечные рассказы обо всем, которые я так люблю. Люблю саму эту атмосферу, когда люди сидят за столом и прекрасно друг к другу относятся.

Вечером в поезд мы вскочили чуть ли не на ходу. Без билетов. Долго ходили по вагонам, пока начальник поезда нам не дал какое-то отдельное служебное купе. Опять бессонная ночь.

Наш загнанный ритм, совместные обеды и ужины, доброе отношение друг к другу потом отозвались в эфросовском «Вишневом саде». В профессии мы оказались повязаны одной веревочкой.

Иногда на гастроли мы брали с собой машины, чтобы не связываться с поездами. Например, на гастролях в 1974 году мы были в Прибалтике и в Ленинграде. Гастроли были рассчитаны на два месяца, а нам нужно было ездить часто в Москву на съемки. На машине тогда было легче добраться, чем сейчас.

Опять привожу кое-какие записи из моего дневника:

“30 сентября. Володя, я, Ваня ездили в Москву. Вернулись на гастроли в Ригу. Любимов уехал в Италию – в Ла Скала будет ставить оперу Луиджи Ноно. Днем ездили в Сигулду обедать. По дороге Высоцкий рассказывал, как снимался в Югославии в «Единственной дороге». Купил там Марине дубленку – очень этим гордился.

4 октября. Переезд на гастроли в Ленинград. Высоцкий попал в аварию за семьдесят километров от Ленинграда. Перевернулся. Сам, слава Богу, ничего – бок машины помят... Мне из Москвы Иван Дыховичный перегнал машину.

21 октября. Ездили к художнице смотреть рисунки для нашего «Гамлета». Туман. Разбила машину. Вечером концерт – Володя сразу откликнулся – познакомил с мастером, который за два дня починил ему его «БМВ».

26 октября. После «Гамлета» на машине Высоцкого (как сельди в бочке) помчались в редакцию «Авроры». Какое-то пустое, пошлое помещение. Филатов читал свои пародии, Высоцкий пел, Ваня Дыховичный пел, Валера Золотухин пел, я, слава Богу, промолчала. На всех нас сделали шаржи”.

Потом вышел номер журнала “Аврора”, где были напечатаны пародии Филатова и шаржи на всех нас пятерых. Все очень похоже, особенно Высоцкий.

“30 октября. Собирались в Москву. Мою машину перегоняет Авербах. Я накупила массу картин. Забит весь багажник. Смешно загружался Высоцкий. У него много подарков и покупок. Тоже забита вся машина. Багажник не закрывался. Он терпеливо перекладывал, багажник все равно не закрывался. Махнул рукой, резко захлопнул багажник, там что-то громко хрустнуло, он сказал, что, наверное, петровские бокалы, но не стал смотреть”.

А в 1977 году Таганка впервые отправилась в Париж. Тогда на ранних гастролях мы старались держаться вместе: Филатов, Хмельницкий, Дыховичный и я. Они меня не то чтобы стеснялись, но вели себя абсолютно по-мальчишески, как в школе, когда мальчишки идут впереди и не обращают внимания на девчонок. Тем не менее я все время была с ними, потому что больше – не с кем. У меня сохранился небольшой листок бумаги со строками, написанными разными почерками, – это мы: Леня, Ваня, Боря и я – ехали вчетвером в купе во время каких-то гастролей и играли в “буриме”:

Когда, пресытившись немецким пивом,
Мы вспоминаем об Испании далекой,
Хотя еще совсем не вышло срока
И до Москвы, увы, – далёко,
И неизвестны суть и подоплека

(Хотя судьба отнюдь к нам не жестока),
Но из прекрасного испанского потока
Я выбрала два сердца и два ока.

Читателю я даю возможность угадать, кто из нас какие строчки писал. Я помню, там же, в купе, мы ели купленный в дороге большой арбуз. Это было очень неаппетитно и грязно (не было посуды, ножей, вилок, салфеток) – и от отчаяния и усталости я даже заплакала...

Но потом как-то успокоилась. Много раз замечала, что путешествие по железной дороге обладает каким-то удивительным психотерапевтическим действием. А если еще и с хорошей компанией, то все неприятности и неудобства куда-то отступают.

Но бывало, что приходилось мне пускаться в путь одной. Я снималась у Ларисы Шепитько в фильме по сценарию Гены Шпаликова “Ты и я”. Летнюю натуру, как всегда бывает в кино, мы пропустили, и досъемки были в Ялте. Я по-прежнему была занята в спектаклях Таганки, поэтому приходилось летать к морю на один-два дня.

И вот у меня окно в театре, я мчусь в аэропорт, а рейс на Симферополь из-за снегопада задерживается. Сажу несколько часов, жду. Наконец взлетели. На моей шубе оторвался крючок, в сумке почему-то оказалась иголка с ниткой. Я уже стала пришивать, но тут подходит ко мне стюардесса и спрашивает: “Что вы делаете?!” – “Пришиваю крючок”. – “Хуже приметы в самолете не бывает”. Я в приметы верю, поэтому так и осталась в обнимку с этой шубой, из которой торчала иголка, как предостерегающий перст.

Летели мы ужасно. Проваливались в какие-то ямы, самолет трясло, я думала: “Вот, это все моя иголка...” Но в конце концов сели. Хотя садились несколько раз, предательски подпрыгивая. Всех вымотало ужасно.

Я все-таки пришиваю свой крючок – иголка-то торчит. Выходит стюардесса и, глядя на меня – глаза в глаза, – говорит: “Мы приземлились в аэропорту города Киева, и из-за погодных условий самолет дальше не полетит. Выходите”.

Судя по тому, что в аэропорту люди сидели на полу даже в проходах, нелетная погода была давно. В ресторан не войти, сесть некуда, в Киеве никого не знаю. Что делать?

Уже к концу дня слышу, по репродуктору объявляют посадку на самолет Киев – Одесса. А у нас дома висела маленькая карта мира, которую помнила с детства, и я подумала, вспомнив эту карту: “Одесса и Ялта – это же рядом. Доеду”. Купила билет. Лечу.

В Одессу прилетаю поздно вечером. Сажусь в такси, шофер спрашивает: “Куда?” Я говорю: “В Ялту”. Он как одессит принял это за юмор и объяснил, что таксисту нельзя пересекать границу района, к которому он прикреплен. Не знаю, как сейчас обстоят дела с подобными правилами, но тогда, глубоко в советские времена, выезжать из одесского района он действительно не имел права.

Я не помню сейчас последовательность районов между Одессой и Ялтой – Херсонский, Николаевский, Симферопольский, – но всю ночь я ехала, меняя такси в каждом из них. Под конец у меня уже не было денег, и я расплачивалась золотыми брелоками от часов и браслета. Шофер, я помню, пробовал золотой брелок на зуб, проверяя его подлинность (до сих пор не могу понять, как можно на зуб проверять золото).

В Ялту и в “Ореанду” – любимую гостиницу тогдашних киношников – я приехала уже днем. Иду по длинному коридору, мне навстречу – Лариса Шепитько. Голова – вниз, и идет она медленно-медленно. В ее походке, во всей пластике видна такая обреченность, такой трагизм – идет Медея после убийства детей... Вдруг она поднимает глаза и видит меня: “Алла! Мы же тебя встречали в Симферополе! Прилетел утром самолет из Киева, но тебя в нем не было”. Я говорю: “Потому что я приехала на такси. А где группа? Почему не снимаете?” – “Группу я распустила, тебя же не было”.

Лариса, надо знать ее волю, собрала группу, которая разбрелась по всей Ялте, и мы поехали снимать. Не сняли, потому что опоздали с солнцем. А вечером я села в поезд и уехала в Москву на спектакль.

В Ялте в то же время Женя Фридман снимал “Остров сокровищ”. Для фильма ему построили очень красивый парусник, и каждое утро его группа уходила в море, правда недалеко, так что его можно было видеть с берега. А вечером они где-то в горах – где и жили в какой-то небольшой гостинице – жарили шашлыки. Я все время говорила Ларисе: “Вот там – жизнь! А мы – съемки, работа, прилетели – улетели, сняли эпизод в подворотне – разошлись по своим номерам...” И вот однажды, когда у нас не было съемок, Юра Визбор – мой партнер по фильму у Ларисы – напросился к Фридману на корабль. Они уплыли на целый день. Наконец возвращаются. Мы с Ларисой, как две морячки, ждем Визбора у причала. Мы: “Юра! Юра! Юра!” Он мимо нас и – ни слова не говоря – в гостиницу... Потом Юра нам рассказал: “На корабле было ужасно. Качка безумная, посадка низкая. Но я сложил там песню, а записать не мог из-за качки. Мне нужно было удержать ее в голове, а «здравствуйте!», «подождите меня», «извините» зачеркнули бы все у меня в памяти”.

Прошло много лет. Вечер памяти Визбора. Выходит один из его друзей и говорит: “Я сейчас спою песню, которую мало кто знает. Она посвящена Алле Демидовой. Юра написал ее на паруснике Жени Фридмана во время съемок”. И спел песню, которую я до этого не слышала, – “Черная монашка мне дорогу перешла”...

Где-то под Гроссето Марина Степнова

“Белиссимо!” – воскликнул агент и с чуточку театральной ужимкой распахнул двухстворчатое окно. В просторную спальню (ореховые балки, терракотовая плитка, беленые потолки) тотчас послушно заглянула Тоскана, сочная, захватанная миллионами глаз, но не утратившая от этого ни йоты своей опасной простодушной прелести. Агент положил ладони на полуметровый прохладный подоконник – было действительно белиссимо: кипарисовый пунктир, провожающий путника к самому порогу, пара причудливых пиний, подсолнухи, оливковая роща, бредущая по дальнему холму. Все как в райском рекламном проспекте. Настоящий – только свет, знаменитый тосканский свет, плотный, живой, шелковистый, превращающий в музейную драгоценность и деревенскую пыль, и пожилой шестисотый “фиат”, и даже смертные человеческие лица.

Агент обласкал взглядом пейзаж, прибавлявший ему минимум двадцать процентов к каждой сделке, и повернулся к клиентке, вопросительно приподняв меховые, отдельной и очень насыщенной жизнью живущие брови. Дом и правда был идеальный – двухсотлетию, но отлично отремонтированный, не слишком большой, но и не чересчур тесный, с собственным садом, но без гектаров оливок или виноградников, которые так хороши на волнистом горизонте, но требуют – о, агент это знал! – самого настоящего потопролитного крестьянского труда. Всего в паре километров – кукольный средневековый городок с пятисотлетним храмом и мэром-коммунистом, три чумы, синьора, два десятка войн, дом римского папы (не того самого, увы, тот был святой, хоть и поляк, а наш – обычный пройдоха), рынок по субботам, три магазинчика, один Джотто и пять ресторанов. Будете вечерами ходить в бар к Деборе, пить кофе с граппой и любоваться на закат. Плюс имеется отличное место для бассейна.

– Нет, – сказала клиентка, собрав в белую плоскую нитку и без того тонкие губы. – Мне это не подходит.

– Как не подходит, синьора?! – брови агента в ужасе бросились вверх, на лоб, словно пытаясь укрыться в волнистых волосах зарослях.

– Никак! – отрезала клиентка и, повернувшись к Тоскане спиной, пошла вниз по певучей лестнице, едва касаясь рукой медовых, гладких перил. Точно брезгуя.

Она подошла к входной двери и промерила ее бесцветным взглядом – холодным, спокойным, точным, словно была столяром, примеривающимся к новой работе.

– Сюда не пройдет гроб, – сказала она.

– Какой гроб, сеньора?! – опешил агент, он продал тысячи домов – хороших и плохих, с тайными жучками в балках и явными огрехами архитекторов, домов с поддельной историей и настоящими привидениями, с джакузи и без канализации, с видом на море и на соседскую спальню, англичанам, русским, американцам, больше всего, конечно, англичанам, но такого, мадонна, такого он не слышал никогда.

– Какой гроб?!

Клиентка повернулась и посмотрела на агента так же холодно и оценивающе, как на дверь.

– Мой, – сказала она. – Мой гроб.

* * *

Кошка умерла в пятницу, ближе к вечеру.

Одиннадцатилетняя Лялька нашла ее случайно – полезла в шкаф за футболкой и обнаружила в ворохе чистого и грязного – вперемешку – белья щуплое взъерошенное тельце, совсем уже застывшее, неживое. Лялька хрипло вскрикнула, отдернула руку, затряслась – не от горя даже, кошка была старая, гораздо старше ее самой, а от страха, – и тотчас прибежал из кухни отчим, подхватил, прижал лицом к старенькой белой майке, не надо, не смотри, не смотри, говорю. Я все сейчас сам. Лялька вдохнула знакомый запах – одеколона, пота, кисловатого баскетбольного мяча – и заорала еще раз, уже просто так, на всякий случай. Мать выглянула из комнаты, придерживая пальцем нужную страницу распадающегося тома, и – сквозь табачную многолетнюю вонь – спросила сердито, нельзя ли потише. Я, в конце концов, работаю. Отчим выпустил Ляльку, сжался виновато – прости, милая, мы не хотели. Видишь – кошка наша умерла. Мать пожала плечами. В тряпку ее заверни и вынеси к мусорным бакам, – распорядилась она. Лялька и отчим переглянулись. Ничего, ничего, – пробормотал отчим. Мы все сделаем, не волнуйся. Сказал Ляльке, конечно, потому что мать, громкогласно высказавшись, тотчас захлопнула за собой дверь.

Мать была прибита литературой и философией так, как иных прибывает непосильное горе. Флоренский, Борхес, Сартр, Упанишады, Блаватская – срач в квартире царил такой же страшный, как у нее в голове, и надо всем лязгал материн голос, безапелляционный, пронзительный, невыносимый, замусоренный умными словами до полной неудобоваримости. В доме часто бывали ее друзья – такие же нелепые, безнадёжные, кандидаты неизвестно каких наук, неудачливые журналисты, ни строчки не написавшие писатели, грозные борцы с режимом, который в упор их не замечал. Человеческая плесень, паразитирующая на чужих мыслях, на чужих жизнях, чужих словах. Они именовали себя “интеллектуалами” (самоназвание, такое же бесцеремонное и бесчестное, как самозахват), без конца пили чай и дрянной рислинг по рубль две и говорили, говорили, говорили – Лялька привыкла засыпать под гул голосов, плывущих в дымных клубах “Космоса” и “Явы”: сталинизм, православие, нравственность, славянство, академик Сахаров, буддизм, – к моменту, когда у гостей открывался третий глаз, у Ляльки наконец-то закрывались оба, но даже сквозь сон она продолжала слышать голос матери – костлявая, длинная, нелепая, она всегда говорила больше и громче всех, притопывая в самых важных местах плоской, как лапа, ступней пугающе неженского размера.

Кроме книг и пустопорожней болтовни мать обожала себя – страстно, цельно, неистово, и это была настолько полная и разделенная любовь, что остальным просто не оставалось места. Лялька еще могла кое-как пригодиться, послужить подходящим аргументом, потому ее лет до десяти частенько выводили к гостям, водружали на табуретку и заставляли читать наизусть что-нибудь из Бхагават-Гиты или совсем уже невозможное – Антиоха Кантемира. Уме недозрелый, плод недолгой науки, – выводила Лялька, подсмывая вечно сползающие колготки и спотыкаясь на каждой силлабической строке, – покойся, не понуждай к перу мои руки: не писав летящи дни века проводи-ти можно, и славу достать, хоть творцом не быти... Зубрить это было еще сложнее, чем произносить, а понять и вовсе уж невозможно, но Лялька терпела – гости захваливали ее, заваливали вопросами – умными до идиотизма, и отвечать надо было так же – быстро и умно, мать заранее писала ответы на бумажке, заставляла учить наизусть и среди недели часто нападала на Ляльку без предупреждения, пыталась взять врасплох, но Лялька старалась, тогда еще старалась, и потому твердо знала, что нужно сказать про Сталина, что – про Рериха, в каком году было написано “Отплытие на о. Цитеру” и чем оно отличается от “Отплытия на остров Цитеру”. Мои гены – совершенный вундеркинд, – скромно признавалась мать. Представляете – вчера подошла и попросила у меня Тредиаковского! Сама попросила! О, Василий Кириллович, – тотчас отзывался один из гостей, особенно Ляльке ненавистный, – журналист, неизвестно зачем

называвший себя культурологом (громогласный гастрит, огненная борода, желтые жуткие зубы), – наш первый профессиональный русский литератор!

Лялька, поняв, что выступление закончено, с облегчением – бочком, бочком – выскальзывала в нормальную жизнь, к себе, или на кухню, где сидел, карауля вечно закипающий чайник, отчим, маленький, тихий, лысоватый. Родной. Вот мать была неродная. А отчим – очень родной. Лялька, – радовался отчим почти беззвучно, мать его стыдилась, к гостям не выпускала никогда, даже чай принести – только заваривать и позволяла, он и заваривал, иной раз – почти до утра, читал втихомолку “Советский спорт”, мыл чашки и бокалы, распечатывал очередную пачку грузинского, а то и дефицитного, со слоном. Он был обычный физрук, преподавал в школе, учил мальчишек и девчонок прыгать через козла, подавать крученный, кричал: “Давайте, зайцы, давайте, не сдаваться!” Зайцы не еда-вались, а если и продували игру, то зла на физрука не держали. Он был безобидный.

Мать тоже преподавала – но экономику и в институте, что автоматически возносило ее на какие-то сияющие вершины, существовавшие исключительно в ее воображении. Преподавала она, кстати, скверно и экономик не знала совершенно – бубнила раз и навсегда затверженную методичку, даже не свою – заведующего кафедрой, которого ненавидела и перед которым пресмыкалась с добровольной и неистовой страстью, знакомой лишь истинным советским интеллигентам, этим отважным и святым борцам за права всех униженных и оскорбленных. Отчима мать гнобила – как существо низшего порядка и отказывала ему, кажется, в самых элементарных человеческих чувствах. Не в чувствах даже – в реакциях. Она, ревнительница Достоевского и поклонница Ганди, даже предполагать не собиралась, что ее муж, этот плюгавенький человечек без высшего образования, не читавший Бердяева и Лосева, может хотеть спать или, скажем, есть, если она этого не велела.

Лялька смогла расквитаться с ней за это, только когда подросла.

В детстве – когда важны все молочные и кровоплотные связи – она была к матери привязана, как привязываешься к любой среде обитания, какой бы скверной или странной она ни была. К тому же отчим как мог сластил пиллюлю – сам менял Ляльке трусишки, штопал колготки, дождавшись, когда она вызубрит очередного Бродского или Славинецкого, шепотом рассказывал не сказки – нет, про войну, про то, как добирался с матерью, царствие ей небесное, в эвакуацию – три месяца ехали, потихо-хоньку, а один раз мамка сошла на станции за кипятком, а поезд – раз! – и тронулся. И что? – спрашивала Лялька тоже шепотом, натягивая на себя спасительное одеяло. Так и бежала за теплушкой десять километров, до следующей станции. С чайником. А ты? Лялька замирала, представляя себе степь, рыжую, неживую, и женщину с неразборчивым лицом, из последних сил бегущую за медленно уползающим к горизонту огромным вагоном. В теплушке сидел да ревел, чего было еще делать? – отвечал отчим, и Лялька засыпала, подложив под щеку его сухую, конопатую, необыкновенно удобную руку.

Привязанность к матери, и без того слабенькая – так, спиртовой раствор нормального чувства, не пережила Лялькиного пубертата, обернулась ненавистью мгновенно, да какой ненавистью – у Ляльки даже голова закружилась, когда она, ставя на поднос свежий чайник и тарелку с овсяным печеньем, услышала сквозь незакрытую дверь визгливый материн голос. Какие семейные ценности, какая любовь к детям! Это же просто смешно! Мы же о Флоренском с вами говорим, а не обо всякой ерунде. – Ну что ты, – вяло попытался урезонить мать кто-то из гостей, – разве это ерунда? У тебя же у самой дочка! Мать без микроскопической паузы, которую сделало бы даже существо, знакомое лишь с агамогенезом, возразила: Дочка?! Я вас умоляю! Какое она вообще имеет значение? И к тому же – помните? Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар! Мать завывала, как выла всегда, читая стихи,

боже, как Лялька их сразу возненавидела! Всех этих ахматовых, адамовичей, Ивановых – Георгиев и заодно Вячеславов! И не только их – книги вообще. Книги и мать.

Ни одной книжки в доме не будет, когда вырасту, пообещала себе Лялька, попробовала взять поднос, но не смогла. Поставила снова на стол. Тощая, прыщавая и высоченная, она в свои тринадцать лет уже не годилась для чтения с табуретки, потому мать приладила ее подносить гостям чай – хоть какая-то польза от бывшего вундеркинда. Ольга! Ты там заснула, что ли? – крикнула мать, словно только что не отказалась от нее публично. Словно не отреклась. Где наш чай? Лялька справилась с собой, посмотрела украдкой на отчима – слышал? Он покачал сочувственно лысеющей головой, сжался в углу еще больше. Конечно, слышал. Никогда не называл ее Ольга. Никогда. Только Лялечка и Лялька. Это она не со зла, Лялька, – сказал он тихо. Не со зла. Так просто. Ради красного словца.

Лялька кивнула, вышла в большую комнату (мать жеманно называла ее гостиной), обвела глазами клубящихся в дыму интеллектуалов и со всего маху швырнула поднос на стол. Вот твой чай, жри! – прокричала она так, что заглушила и вопли гостей (некоторых, к радости Ляльки, преизрядно ошпарило), и грохот посуды, и материно молчание. Она молчала – наконец-то! – округлив и без того огромные, выпуклые карие глаза, и молчание это звучало для Ляльки лучше самой лучшей на свете музыки.

С этого дня началась их с матерью война – осмысленная и беспощадная, – не каждым годом взрослеющая Лялька одерживала в этой войне все больше побед. Ненависть скоро сменилась презрением, смысла которого мать честно не понимала, как не понимала ничего, кроме своего Флоренского. Эта фамилия отныне звучала для Ляльки страшнее любой матерной ругани, даже страшнее слова “интеллектуал”. Лялька демонстративно забросила книги – навсегда, и учебу – ровно настолько, чтобы переползть из класса в класс без унижительных задержек. Но этого было мало. Мать презирала отчима с его физкультурой – и Лялька умолила его, уговорила, чуть ли не силком заставила, но поступила в секцию, на легкую атлетику, хотя куда ей было спортом заниматься? Где это вообще слыхано, чтоб начинать бегать в тринадцать лет? Но Лялька бегала, выжимала из жил все, что могла, и хоть не грозила выбиться в чемпионки, но и самой отстающей тоже не была. Честно выдавала стометровку за 12,54 секунды: КМС – это вам не хухры-мухры, а на большее не рассчитывала. Ей нравилось не бегать, а то, что они были с отчимом заодно, вместе вставали в несусветную рань, вместе, толкаясь плечами, натягивали в прихожей кеды, вместе трусили по сероватой рассветной парковой дорожке – в любую погоду, в снег, в мелкую дождевую морось, в грязь, а иногда, особенно весной, все вокруг было таким ясным, промытым и сияющим, что Лялька вдруг взвизгивала, взбрыкивала голенастыми лапами и неслась по парку сломя голову и чувствуя, как улыбается ей в спину отчим. Во время пробежек они почти не разговаривали – а зачем? Мать столько болтала, что эти двое были совершенно счастливы молча.

Когда Лялькины кеды стали на размер больше, чем у отчима (она, к своему огорчению, уродилась в мать – тощая, но громадная, вся в сочленениях и мослах), рухнул СССР – и мать радовалась так, будто лично его развалила. Ляльке было все равно – она уезжала на сборы, бросала в спортивную сумку майки, трусы, полотенца, так – это не забыла, это, кажется, тоже. А – ну его к черту. На месте разберусь. Она обняла на прощание отчима, окончательно к тому времени переселившегося на кухню – вместе с раскладушкой, а ты не волнуйся, говорил он Ляльке, – мне тут хорошо, в тепле, сижу себе, как сверчок за печкой, да сверчкую. Лялька расцеловала его в обе щеки, маленького, худого, только пузико взялось, откуда ни возмись, и отчим отчаянно этого пузика стеснялся, питался исключительно тво-рогом и удвоил утренние пробежки – но все напрасно. Все напрасно. Когда через месяц Лялька вернулась со сборов – отчима уже похоронили.

Токсический миокардит, – виновато сказал врач “скорой помощи”, прибывший засвидетельствовать смерть, Лялька разыскала его, не поленилась, она хотела знать, как все слу-

чилось. Да так и случилось – сидел, как всегда, на кухне, заваривал чай, слушал через дверь умные разговоры, сверчковал, а потом прилег на раскладушку и... Такое больное сердце! Ему совсем были противопоказаны нагрузки. Совсем. А он у вас, кажется, спортом занимался? Лялька кивнула, зашла домой, взяла так и не открытую после сборов спортивную сумку и ушла. Навсегда.

Перекантывалась сперва у одной товарки по секции, потом у другой, устроилась продащицей в ночной ларек, прижилась, подзаработала, но надолго не удержалась – жестоко избила попытавшегося пристать к ней хозяина, благо ноги, спасибо отчиму, были у нее стальные, как у страуса. Только вмажь – голова сразу сама до жопы внутрь провалится. Крышевавшие хозяина бандиты хотели сперва, смеха ради, переломать ей кости, но потом угостили ликером и отпустили – почуяв свою, Лялька была совсем без башки, как и они, и, конечно, будь она парнем, не ушла бы ни за что, прибилась бы к какой-нибудь шайке и превратилась в обычную бандитскую торпеду времен девяностых – два-три года разудалой жизни, девятка цвета мокрый асфальт, пуля в голову, морг, рай. Но – не срослось, не повезло, потому Лялька долго мыкалась на самом дне неласковой московской жизни, пока не вынырнула уже в сытые нулевые – биржевым брокером, причем довольно удачливым. А что, господи? Нервы у нее были как канаты, терпение ослиное, а на этой работе больше ничего и не требуется. Бабки валились на Ляльку со страшной силой – только успевай подбирать, деньги вообще любят смелых и безголовых, к тому же у Ляльки имелась цель, а деньгам это тоже очень нравится. Цель была ясная, очень простая – найти свое место. Не в жизни, нет. С жизнью как раз все было очень просто. Лялька хотела найти место, чтобы состариться и умереть.

Кошку положили в коробку из-под осенних ботинок отчима – получилось в самый раз, даже свободно, а на дно постелили Лялькину футболку, ту самую, на которой кошка умерла. Темнело, пахло завтрашним дождем, грибами, и земля в парке, у самой ограды, оказалась такой мягкой, что отчим отлично управился Лялькиным детским совочком, который неизвестно каким образом выжил, спрятавшись на балконе. Вишь, пригодился, – похвалил совочек отчим и аккуратно опустил коробку на дно ямки. Лялька стояла рядом, насупившись. Плакать не хотелось, только тянуло и ныло внизу живота. Чего она в шкаф залезла? – спросила она отчима, который без спеха, ласково, приминал землю вокруг маленького холмика. Место свое искала, – ответил отчим просто. Это как? – удивилась Лялька.

– А вот так. Всякий зверь, когда помирать, место свое ищет.

Зачем? – не поняла Лялька, чувствуя, как в животе начинает ныть уже по-взрослому, все сильней. Затем, что на своем месте и помирать не страшно, – отчим распрямился, обхлопал ладони о штаны и взял Ляльку за плечо. Пойдем. И они пошли. Уже возле самого дома Лялька спросила: а кошкино место что – в шкафу? Отчим подумал. Выходит, что так. Видишь, она в твои вещи забралась, не в мамины, не в мои. Значит, тебя больше всех любила. Ты и была – ее место. Лялька вспомнила мучительно оскаленное кошачье личико, открытые, похожие на стеклянные шарики, глаза. Ей не больно было? Нет, что ты, – успокоил отчим и на секунду прижал Ляльку к себе. – Она же старая была совсем. Просто заснула – и все. И не проснулась.

Той же ночью Лялька поняла, что тоже умрет. Нет, даже не поняла – почувствовала. Ощутила всем телом – и тесноту гроба, и многометровую толщу навалившейся сверху земли, и тихий неостановимый напор червей, шуршащих снаружи о сосновые доски. Она почувствовала, как истаивает плоть, обнажаются кости черепа – дырка, и дырка, и еще одна, с острой костью, там, где был нос. Мощно пахло гнилью, тленом, пробивающимися к жизни, шевелящимися нитями грибницы. Лялька заорала – коротко, утробно, ужасно – и села в постели, зажимая рот и обливаясь холодным, мгновенно подсыхающим потом. Из светлеющей, уже не могильной темноты появился отчим – маленький, перепуганный, похожий на

Гагарина, Ляльке всегда казалось, что он похож на Гагарина, всем – ростом, повадкой, улыбкой, только улыбка отчима была всегда спрятана, всегда не снаружи, а внутри.

– Ты что? Напугалась, Лялечка? Сон плохой приснился?

Отчим привалился к ней теплым крепким боком, как лошадь, как корова, и таким повеяло от него животным, живым теплом, что Лялька заревела, пуская сопли и объясняя сквозь них, сквозь икоту, что не хочет умирать, что боится, и отчим горячими шершавыми пальцами собирал слезы с ее прыгающих губ и все бормотал, что ничего страшного, ничего страшного, доченька, да, умрешь, тут уж ничего не поделаешь, врать не стану, все пометим, так уж жизнь устроена, но ты еще очень, очень не скоро, через много-много лет. И только когда найдешь свое место.

Лялька поставила себе простую и очень ясную цель – собрать миллион долларов, найти свое место и дожить там жизнь, спокойно и ничего не боясь. Проще всего было с миллионом – покажите мне кого-нибудь, кто живет в пределах Садового кольца, у кого этого самого миллиона нет. Разве что бомжи да пенсионеры, но Лялька была не бомж, молодая, крепкая, тощая, она печатала деньги со скоростью банкомата и совершенно ни на что не тратила – только на спортклуб, да и то, чтобы поддерживать себя в подходящей форме. Она готовилась к долгой и счастливой старости, как к зимовке на Северном полюсе, как к полету в космос, – старательно, спокойно, ни на что не отвлекаясь. Единственным отступлением от плана стала покупка “двушки” на Пятницкой, дороговато, конечно, но зато отличная инвестиция. Если с миллионом не выгорит, квартиру можно будет сдавать – и на это жить. Отчим согласно покивал головой из своего прекрасного далека, мать проорала что-то громкое и напыщенное, Лялька с ней не общалась и втайне надеялась, что мать обнищала вконец, мыкается где-нибудь, обшаривает мусорные баки, как тысячи московских стариков. Только мать, в отличие от них, была по-настоящему виновата. Хотела все развалить – вот и получай!

Лялька не пила, не курила, питалась почти исключительно суши и не имела никаких, даже самых гигиенических романов. Она жила пустой и совершенно стерильной жизнью, в которой существовало только будущее. Пока в один прекрасный день не почувствовала на беговой дорожке, как прыгнуло за грудиной сердце, никогда прежде не видимое и не слышимое. Прыгнуло, повисело в безвоздушном пространстве и снова пошло, набирая ход, тогда как сама Лялька, наоборот, ход замедлила, плавно перебирая ослабевшими враз ногами и вытирая со лба совсем не спортивный – липкий и мерзкий пот. Дорожка остановилась, и Лялька пошла, все еще покачиваясь, по мягко плывущему миру в раздевалку.

Доктор попался хороший – симпатичный, молодой, веселый. Он заставил Ляльку сдать кучу анализов, покрутил ее на разных аппаратах и, только взяв в руки ленту ЭКГ, посерьезнел. Даже поскущнел. Надо же, – выдохнул он коротко и удивленно, словно получил от Ляльки не отпечаток ее тайной сердечной жизни, а удар под дых. Надо же! Бигемения. Не ожидал. Совсем не ожидал. Лялька, натягивая толстовку (джинсы, кеды, майки – моде своих тринадцати лет она так и не изменила, некогда, да и незачем, честно говоря), переспросила с любопытством – как вы говорите? Бигемения, повторил доктор – и Ляльке показалось, будто в груди у нее распускается куст ветвистой лиловатой бегонии. Красиво.

Оказалось – аритмия, сложная, даже изысканная, не слышимая ни стетоскопом, ни на пульсе, но, тем не менее, вполне реальная. Как смерть. УЗИ подтвердило, что – да, никакие это не нервишки, все по-взрослому, каждый второй удар сердца – неправильный, желудочки – дрянь, придется делать это, это и это, а вот от этого категорически отказаться. Надолго? – деловито спросила Лялька. Пожизненно, – отрезал доктор, которому категорически не нравилось, что после каждого его назначения Лялька улыбалась все шире и шире. Психанет, как пить дать, – психанет и выдаст истерику. Лялька не выдала. Я не о том, доктор, пояснила она. Долго я еще протяну?

Врач неопределенно пожал плечами.

Я в Интернете посмотрю! – пригрозила Лялька, и доктор сдался – нисколько, то есть – сколько угодно вы протянете, если не считать, конечно, риска внезапной смерти, да, кстати, при бигемении – восьмидесятипроцентная смертность в случае инфаркта, так что никаких стрессов, вам совсем нельзя волноваться, слышите – совсем! Только не лезьте вы на форумы, я вас умоляю, такого количества клинических идиотов в одном месте даже представить себе нельзя! Риск внезапной смерти – это значит в любой момент? – уточнила Лялька. Да, – сказал кардиолог. Это значит – в любой момент. Но ведь это каждый может, сами понимаете... Лялька не дослушала, встала, пошла по коридору, по улице, все еще улыбаясь – было совсем не страшно, а наоборот – тепло, будто больное сердце досталось ей в наследство напрямую от отчима, вот если бы нашли язву, как у матери, было бы обидно, а от отчима – от отчима все что угодно, вот только времени больше не было. То есть – совсем.

Лялька планировала выйти на пенсию лет через десять, в сорок с небольшим, и за год объехать неспешно весь мир, исключая совсем уже невозможные места, вроде Сомали, Афганистана и России, на родине она жить не желала категорически и принципиально. Родина была – мать. Но теперь десяти лет не было, и года тоже не было, потому Лялька торопливо подбила бабки. Как выяснилось, миллиона у нее не было тоже, и сильно не было, но это были уже пустяки, долгая и счастливая старость ей больше не грозила, потому надо было просто взять себя в руки и найти свое место прямо сейчас. Лялька купила огромную карту мира, прилепила скотчем к стене и, подумав, обвела маркером Европу. Близко, спокойнo, цивилизованно. Но главное – близко. Далеко лететь было просто опасно – Лялька совершенно не хотела умереть в воздухе, беспомощно зависнув меж двух миров. Она придвинула к себе ноутбук и набрала в поисковой строке – “кладбища Европы”.

Все оказалось не так уж страшно. Одна таблетка утром, одна – вечером, не волноваться, не бегать, не пить ничего крепче воды, не, не, не... План был идеальный – найти свое место, купить рядом дом, забашлять кому положено, чтобы не выслали трупом на родину, успокоиться, умереть. Но свое место все не находилось. Лялька чинно вышагивала по шуршащим гравием дорожкам – в Париже были вкусные блинчики, но кладбища ей не понравились, особенно Сен-Женевьев-де-Буа, просто коммуналка какая-то, честное слово. И повернуться будет негде. Вена оказалась совершенно очаровательной, особенно Центральное кладбище, абсолютно недоступное, увы! увы! Но Лялька, уже готовая внутренне довольствоваться Хитцингским, вдруг случайно увидела себя в витринном отражении – высокая, нескладная, плоская, с выulptенными глазами, совсем-совсем мать. Вена тотчас же потускнела, помутнела, будто подернулась гнилостным сумраком, и Лялька, выписавшись из отеля на три дня раньше запланированного, отправилась дальше. Лондон, Будапешт, Барселона – она моталась по карте, металась по ней, изредка заглядывая в провинцию, но и там кладбища насто-роженно молчали, и молчало, не отзываясь ни на тенистые кущи, ни на зеленые выстриженные лужайки, Лялькино сердце, аккуратно пропускавшее каждый второй, каждый второй, каждый второй удар.

Италию она проехала почти всю, методично передвигаясь с юга на север – ничего интересного, руины, макароны, туристический ор. Прокатный “фиат” кряхтел на каждом повороте, жаловался на судьбу, но на границе Лацио и Тосканы все-таки сломался. Сервисная служба прислала механика, молодого, совершенно порнографического красавца в голубом кокетливом комбинезоне на голый лепной торс, механик говорил только по-итальянски и норовил включить то жиголо, то дурака, но Лялька, вообще ни одного языка, кроме русского, сроду не знавшая и, тем не менее, объехавшая уже почти всю Европу, быстро сбита с красавчика спесь. Евро – они, знаете, лучше любого разговорника. Особенно наличные. А у Ляльки было полно наличных.

Тем не менее, несмотря на евро, провозились они с “фиатом” долго, так долго, что в Тоскану Лялька въехала не к шести часам вечера, как планировалось, а сильно за полночь.

Она заранее забронировала номер в агриiturismo где-то под Гросетто, ей нравились эти старые фермы, переделанные под отели, вот такое бы купить да похорониться в собственной оливковой роще. Но даже совсем заброшенные, в развалинах, стоили под миллион евро. Дорого. Не потянуть. Посередине виа Аурелиа механическая тетка, живущая в навигаторе, вдруг сказала: “Вы прибыли в пункт назначения”. И замолчала значительно. Лялька притормозила, опустила стекло. Было совершенно темно, пустынно, ни огонька кругом, и оглушительно пахло влажными, прущими из-под земли ароматными грибами. Порчини, вспомнила Лялька одно из немногих привязавшихся к ней итальянских слов. Она включила аварийку, вышла из машины. Никаких признаков жилья поблизости не было, и Лялька вдруг поняла, что стоит на старой, римской еще дороге, в самой середине душистой, чуть лепечущей, непроницаемой ночи, и одновременно с этим – в парке, над могилой старой кошки, и рядом с ней, молча, стоит отчим – невысокий, тихий, спрятавший внутри себя огромную, никому не видимую, гагаринскую улыбку. Живой.

Лялька засмеялась. Это было ее место. Теперь она точно знала. Она нашла!

Она снова села в машину и, отключив ненужный больше навигатор, съехала с трассы. Мягкая грунтовка петляла в итальянской темноте, пока не уперлась в какие-то ворота. Лялька выключила двигатель, выпила на ощупь свою таблетку и, опустив до предела неудобные сиденья, заснула, без сновидений, без страхов, без надежды – совершенно спокойно. Как в детстве.

Проснувшись она от мягкого, властного нажима тосканского солнца. “Фиат” стоял возле каменной приземистой церкви, у кружевных чугунных ворот, возле которых красовалась табличка: *Cimitero comunale*¹. Перевод Ляльке не понадобился. Она зашла в церковь – прохладную, совершенно пустую, подивилась на украшенный живыми пионами алтарь, на ящик с маленькими электрическими свечками. Лялька порылась в карманах и сунула в прорезь тяжелый российский пятирублевик. Итальянский Господь принял неконвертируемую жертву, что-то тихо щелкнуло – и одна из свечек загорелась. Было очень спокойно, даже уютно, как и должно быть в месте, куда люди приходили молиться, жениться, переглядываться, крестить младенцев и отпевать покойников как минимум пятьсот лет. Может, даже больше. Лялька умылась, фыркая от удовольствия, возле чаши со святой водой, прополоскала рот и вышла на улицу.

Кладбище было заперто. Все правильно. Церковь – она для живых, а мертвые пусть отдыхают. Лялька смерила взглядом каменную стенку и – была не была, что я зря, что ли, столько лет спортом занималась? – ловко перекинула через нее худое жилистое тело. Среди невысоких саркофагов и крестов тренькнула, словно жестяная, какая-то птица. Лялька обошла небольшое кладбище, трогая ладонью то гладкий мрамор, то шероховатый теплый ракушечник, и наконец присела на треснувшую плиту рядом с кудрявым пухлощеким ангелом. Ангел дул в забавную игрушечную трубу и косил на Ляльку хулиганским незрячим глазом.

Лялька потрепала его по голой горячей попе и засмеялась.

– Что, брат, – сказала она, – возьмешь меня в свою компанию, а?

Ангел согласно промолчал, и Лялька доверчиво, как в детстве к отчиму, привалилась к его мраморному боку. Было тихо и хорошо, и все еще пахло грибами, как ночью, только на пол-октавы тише.

– Эх, и заживем мы тут с тобой, – пробормотала Лялька, улыбаясь, – эх и заживем!

Вот только осталось купить дом.

¹ Муниципальное кладбище (*ит.*).

Нечаянная встреча Сати Спивакова

Добрейшая бабушка моя называла меня “пташечкой”. Возможно, поток детской болтовни был похож на птичье щебетание...

Летом 1941 года она бежала с контуженным во время Первой мировой войны и потому не призванным в Великую Отечественную мужем и моим восьмилетним отцом из горящего Ростова-на-Дону, из-под немецких бомб, в Ереван. Одна бомба попала в состав, и папа, маленький, тоже был контужен, к счастью, легко. В жизни бабушки этот переезд из Ростова в Ереван под бомбами так и остался единственным большим перемещением в пространстве. Армения показалась раем. Бедным, убогим, но раем. Все-таки тыл!!! К чему это я? Ах, да. Бабушка моя, особа чрезвычайно изысканная для своего времени (фильдеперсовы чулки, брошки на шляпках, духи “Красная Москва”, пудра “Коти” и наборы открыток с видами столиц мира), была еще и прекрасная рассказчица – про то свое единственное путешествие рассказывала так, что попутчики ее вставляли передо мной как живые.

А вот у меня так сложилась жизнь, что все время в пути, с ранней юности. Попутчики, встречи... Сколько их было? Сразу и не вспомнить! При слове “путешествие” – один большой вокзал, перестук колес, сложные синкопы движущегося состава. Хотя больше я люблю летать, а не трястись в вагоне. И не только потому, что самолетом быстрее и с поездками связаны какие-то тревожные ассоциации (привет бабушке!), а дело в воспоминаниях, о которых и вспомнить-то неловко, даже если они давно завалены грудой дней, пожелтели, как полароидные снимки...

Кому из вас не знакомы исповеди соседу по купе, случайному попутчику. Ты понимаешь, что больше никогда его не увидишь, что лишь на одну ночь он оказался в твоей орбите, и – тебя начинает нести, как поезд под откос... Искушение – прикинуться Шахерезадой, проверить свою способность сочинять сказки. И вдруг покажется в прокуренном тамбуре, что лицо человека напротив, пускающего дым тебе в лицо, отныне будет самым дорогим. Мираж этот рассеивается обычно через 30 секунд после прибытия на конечную станцию... И телефон попутчика летит скомканным бумажным шариком на дно привокзальной урны, а с ним и ночные откровения под звон подстаканников, подрагивающих на пластиковых столиках. Дверка захлопывается, ключ выкинут за ненадобностью... Где вы, мои попутчики? Спутники бесчисленных перемещений по миру? Лихие фантазеры-болтуны, стеснительные очкарики, жуликоватые мачо, педанты, умеющие поухаживать за дамой, холеные дипломаты, пьющие артисты, друзья детства (как, ты не помнишь? мы же учились в параллельных классах, ты читала Лермонтова на перемене).

В общем, коллекция моих воспоминаний о путешествиях обширна, и она в исключительно дурном состоянии, как любая коллекция, которую лишь *собирают*, не имея времени классифицировать.

И все-таки есть одна история, которая стоит особняком и из памяти ее уже не вымарать. Бог знает, чем всё это могло кончиться.

...Мне до сих пор снится море, горящее в закатном пламени, пенная дорожка волн, стремящаяся догнать корабль, а иногда, если вдруг заболею, поднимется температура, и в полусне начинаю играть в игру “если бы”, мне снятся ЕГО глаза: огромные, удивленные, блестящие, как черный оникс, и всякий раз я вздрагиваю и просыпаюсь в жаркой испарине...

Июнь 2008 года. Мы с мужем гостим у милейшей пары интеллигентных пожилых людей. Они приглашают нас на пару дней в “круиз” на своей “яхте”. Яхта, на поверку, оказалась малюсеньким парусником: салон, открытая терраска со столом, диванчиком и парой

кресел, две каюты... Но море!!!! Какое море!!! Бирюза, сапфиры, изумруды, серый жемчуг... Нет и намека на волны, на неведомый и опасный подводный мир... Утром просыпаемся в красивейшей бухте недалеко от Бодрума, и я ныряю в тишайшую, теплейшую воду... Я медленно уплываю, наслаждаясь лаской морской воды...

ОН вынырнул из воды стремительно, столкнувшись со мной в лобовом ударе, в сантиметре от меня, глаза в глаза... Огромная, круглая, гладкая, лысая голова, два гигантских черных глаза, белые, торчком усики... ТЮЛЕНЬ!!! Не знаю, кто из нас был сильнее удивлен?!

Только потом, спустя много часов, я пойму, что это и есть – страх смерти!

А в самую секунду встречи с этой “рыбкой”, кроме задохнувшегося в гортани крика, инстинкт скомандовал – плыви назад!! Но обаятельное, жизнерадостное чудище решило со мной задру-житься всерьез! Назад не получалось! Тюленище взмывал надо мной и плюхался сверху всей своей откормленной жирной тушей, как будто предупреждал: сейчас я тебя утоплю! Погружаясь под воду, я видела его песочно-серый, необъятный живот, выплывая на поверхность, наглотавшись воды, чувствовала липкий сильный хвост, которым он обволакивал всю меня до пояса. В руках не осталось сил отталкивать чудище, ноги постоянно находились в тисках его хвоста, дыхание не поспевало за тахикардией... Мгновенная мысль: утонуть вот так, средь бела дня, тихим солнечным утром в маленькой бухте Средиземного моря, жаль, что никто даже не узнает, не поймет, не увидит, не снимет на камеру... (Впрочем последние мысли пришли задним числом.)

Все так бы и закончилось, если бы наши друзья не любили иногда вооружаться биноклем в желании получше рассмотреть берега....

Когда на помощь подплыла спасательная лодка с двумя членами экипажа, я уже почти не оказывала сопротивления неожиданному поклоннику из царства морского. Поклонник же оказался весьма настойчивым – втащить меня, полубездыханную, на лодку удалось лишь вместе с ним: он плотно повис у меня на ногах, и расцепить нас удалось не сразу – двое здоровенных морячков потрудились изрядно. Так мы и доплыли до парусника, с тюленищем, занявшим все дно лодки. Меня внесли на палубу, а мой попутчик пытался вскарабкаться по трапу туда же – он решительно не хотел от меня отказываться, и лишь мощной струей воды из шланга и тыканьем в бока палкой морякам удалось заставить его убраться восвояси, туда, откуда приплыл. Тюлень с диким шумом плюхнулся в воду и сгинул на глубине...

Вы спросите, как оказался в Турции тюлень? Нам удалось разгадать эту загадку, лишь причалив через пару дней к берегу. В первой же местной газете, на первой странице, я обнаружила цветную фотографию своего неугомонного поклонника: мой кавалер возлежал на полосатом пляжном лежаке дорогого отеля, а вокруг стояли зеваки – кто с фотоаппаратом, кто с куском рыбки, кто еще с чем... Оказалось, мой несостоявшийся убийца был гвоздем летнего сезона, местной знаменитостью: некий турецкий миллионер, биолог по призванию, привез тюленя с Северного моря, впаял ему в хвост датчик и выпустил у берегов Бодрума, чтоб понаблюдать, как он будет чувствовать себя один (обычно тюлени плавают парами, так мне сказали) да еще в теплом Средиземном. Говорили, обычно он плавал у берега, выползал на пляж и с удовольствием предавался играм с отдыхающими и чревоугодию, а вспышки фотокамер и внимание окружающих его вроде забавляли... Но пару раз в день он исчезал, и даже суперчувствительный датчик (маленькая красная кнопка в центре хвоста) переставал реагировать на установленную на берегу аппаратуру по дислокации. Видимо, уходя ежедневно на часок-другой с радаров, тюленище искал меня... Искал и нашел! К счастью, встреча наша была недолгой!

Венецианские декабри Андрей Бильжо

Их у меня скоро будет десять.

Я бегу в Венецию в декабре не только потому, что ее бесконечно люблю. Не только потому, что скучаю по ней и ревную ее. Но и потому, что декабрь в Москве для меня невыносим. В декабре в бешеной Москве я просто сходил с ума. В прямом смысле. Уж себе-то я диагноз могу поставить точно и громко, не оглядываясь на врачебную этику.

Эта подготовка к Новому году уже с начала ноября, эти елки за два месяца до, эти пробки, грязь, эти истеричные подведения итогов, этот новогодний юмор, это тревожное “нам надо встретиться до Нового года, старик”. Все это смешивалось в голове в одну кашу. (Один мой больной сказал: “Не надо размазывать кашу по волосам”. Это так, вспомнилось к “каше”.) И еще мелькание лампочек, автомобильные гудки и автомобильные сирены. Даже сейчас, когда я пишу этот текст своей чернильной ручкой, ярко все это представляя, мелкая дрожь, трудно отличимая от тошноты, рождается где-то в области эпигастрия. Вот еще и поэтому я стал убежать в Венецию. И сейчас с радостью перехожу к ней.

Господи, как же мне там хорошо и спокойно. Особенно в декабре. И какая она, Венеция, в декабре разная. Она всегда отдает мне себя, но не без остатка, оставляя что-то про запас. Венеция бесконечна и непостижима. Она всегда дарит мне что-то совсем неожиданное. И совсем непредсказуемое. Так было только в детстве. Вот точно и, может быть, это самое главное! Написал сейчас и понял. Я убегаю или улетаю туда (в прямом и переносном смысле), как в детство.

Набережная Дзаттере, на которой я живу, самая широкая и просторная. Она плавно перетекает (в Венеции надо по возможности избегать сухопутных глаголов) в “Набережную неисцелимых”, любимую Бродским. На Дзаттере много ресторанчиков, в которых я знаю многих официантов. А они знают меня. Некоторые ресторанчики имеют платформы на воде. И когда в декабре тепло, а бывает и плюс восемнадцать на солнце, я сижу на воде. То есть я сижу, конечно, на платформе, которая, в свою очередь, лежит на воде. Эту набережную солнце, когда оно не занято борьбой с облаками и свободно, всегда щедро заливает. Я пью, покачиваясь вместе с платформой, белое вино, покачивающееся в бокале, и смотрю на разные суда, которые вычерчивают свою, только им ведомую, выкройку на зеленом листе канала Джудекка, который отделяет набережную Дзаттере и остров Джудекка.

Вышивающие бесконечную вышивку суда очень разные. Они разной формы, размеров, цвета, функций. Они в десятки раз разнообразнее машин. Смешные, чудаковатые, грозные, агрессивные, тупые, задиристые, гламурные, работающие, строгие, крикливые, застенчивые, властные (далее поставьте сами любые эпитеты, сколько хватит у вас фантазии и словарного запаса, какими бы вы могли и хотели наградить людей, и вы попадете в точку).

Иногда по каналу (только по этому) проплывают очень-очень-очень большие туристические лайнеры размером с пятнадцатизэтажный дом. На фоне этого лайнера Венеция становится маленькой, несчастной, незащитной и трогательной. Она становится похожей на ребенка или старика, переходящего многополосную автостраду с мчащимися красивыми и самоуверенными машинами. Впереди и сзади лайнера – два венецианских буксира. Один, который впереди, тянет второй, который сзади сдерживает. Машине лайнера работать нельзя. Вибрация такого масштаба для Венеции опасна. Два эти буксира спокойны и уверены в себе. Они повидали много красавцев, прибывших из разных стран. Но буксиры – венецианцы, а это многое объясняет. И еще... Как важно, принимая серьезное решение, выключить внутри себя машину и отдаться двум буксирам. Буксиру “за” и буксиру “против”.

Именно в солнечном декабре, шурясь и зная точно, что происходит в это время в Москве, приятно чувствовать и видеть все это. И думать обо всем этом, не думая о Москве.

Но бывают декабри в Венеции очень мокрые. Это когда высокая вода. “Аква альта”. И тогда я надеваю высокие и даже очень высокие сапоги, которые заканчиваются там, где начинается нога. Ходить в сапогах по воде – это детское счастье. “Сапоги” по-итальянски “стивали”. И в этом слове есть что-то радостное и фестивальное. У венецианцев стивали зеленого цвета. Как венецианская вода. Все в сапогах. В сапогах в ресторане. В сапогах в музее. В сапогах в академии. Стоишь в зеленых сапогах и смотришь на “Грозу” Джорджоне, где небо такое же зеленое, как вода и твои сапоги. В сапогах венецианцы идут в театр “Фениче” и несут в мешочках сменную обувь. Сменку. Ох уж эти мешочки со сменкой. Матерчатые, со шнурком. Раскрутишь его над головой за шнурок, и он летит, как комета с хвостом, под потолок. И хорошо, если вернется на землю и не решит зацепиться “хвостом” за рожек школьной люстры с белыми матовыми шарами. А как драться этими мешками было приятно! Кому-нибудь по башке... В театре сапоги меняются на элегантную обувь. А сапоги сдаются в гардероб.

В сапогах приятно ходить по площади Сан-Марко. Когда все туристы, плотно прижавшись друг к другу, стоят на мостках, сделанных специально для них. Я бродил по Сан-Марко один не раз. То есть совсем один. А плотно сжавшиеся в один конгломерат туристы с завистью смотрели на меня и фотографировали этого странного венецианца. А вокруг меня плавали чайки. “Аква альта” – это время, когда ОПТ чаек вытесняет с Сан-Марко ОПТ голубей.

Бывают декабри в Венеции туманные. Разноцветный туман, где в каждой капельке влаги радуга, плотно стоит в Венеции. Без темных очков днем тяжело. Режет глаза. А в темных очках невозможно увидеть эти маленькие и удивительные радуги. И поэтому сквозь слезы (своя родная влага), шурясь, я смотрю на туман. В тумане через туман. Люди выплывают, уплывают, дробятся на атомы и восстанавливаются вновь.

Бывают в Венеции декабри снежные. Как-то выпало много снега, и лежал он долго. Почти неделю. Был снег, солнце и “высокая вода”. Островки снега плавали по затопленным улицам.

Венецианцы радовались и кувыркались в снегу в первый день. На второй помрачнели. А на третий испугались. “Неужели так будет всегда?..” Они прятали лица в шарфы. Я подбадривал их тем, что рассказывал им, что в Москве минус тридцать пять. Впрочем, от этих рассказов, по-моему, венецианцам становилось только страшнее.

Именно в декабре хорошо в Венеции путешествовать по воде. Хорошо и потому, что мало народу, и потому, что другое настроение. Светло-грустно-задумчивое. Ближе к воде – ближе к вечности. С воды Венеция показывает тебе себя совсем, совсем другой. Ты как бы подглядываешь за ней, и от этого примешивается к описанному настроению еще и волнение. А Венеция, по мере твоего движения, все время поворачивается к тебе своими новыми и новыми сторонами.

Путешествия по каналам и по лагуне – это нереализованные детские мечты мальчика, родившегося в империи, но, к сожалению, не в провинции и не у моря.

В редком снежном декабре хорошо сесть в гондолу. Только обязательно в ту, в которой гондольер не успел смести снег. Надо, чтобы на черной лакированной гондоле лежали белые сугробики снега. Сидишь в красном чреве черной лодки, укутавшись в синий плед, и прогуливаешь снег по зеленой воде каналов.

Вспомнилось... Однажды в ноябре в Суздале вдруг выпало очень много снега. Я оказался там. Вместе с венецианцем мы катались на расписных запряженных саниах. Мы сидели, укутавшись в плед. А ямщик гнал вороного по белому снегу. Я подумал тогда, что Суздаль похож на Венецию. Сани – гондола, ямщик – гондольер.

Впрочем, срочно обратно в гондолу. В ней надо быть одному. И надо, чтобы гондольер молчал. Должен быть только плеск воды и плеск мыслей.

Но в этом маленьком путешествии есть один недостаток. Это ощущение себя туристом. А в Венеции мне (как и многим) хочется невозможного. Раствориться там и быть своим.

Поэтому я предпочитаю вапоретто. В декабре на вапорет-то – только венецианцы. И там я свой. Ну хорошо, хорошо, почти свой. Вапоретто – это такой речной трамвайчик. В детстве я любил кататься на трамваях. Именно на трамваях.

Вапоретто похож на вафельное мороженое (вафля сверху, вафля снизу) на той стадии, когда оно, если его аккуратно облизывать по периметру, превращается из прямоугольника в овал (на продольном срезе).

На вапоретто я никогда не прохожу в салон, я стою на открытой палубе в середине, обдуваемой ветром с капельками соленой воды, чувствуя мышцами ног, как плещется подо мной вода, как покачивается на ней судно и как стучит его сердце. Так, наверное, наездник чувствует всеми мышцами своего тела свою лошадь.

Я люблю наблюдать за работой... вот не знаю, как называется эта профессия, ну пусть будет проводник-матрос. Так вот, я люблю наблюдать, как проводник-матрос, юноша или девушка, объявляет остановки. Как мастерски за доли секунды вяжет узлы, как швартуется. Все движения очень точны. Он всегда любезен, внимателен и строг.

Я люблю наблюдать за венецианцами. Они все знают друг друга. Входя на вапоретто, здороваются, а расставаясь – прощаются. Так школьники входят в свой класс. А они все, венецианцы, – одноклассники. Вся жизнь проходит на глазах друг у друга. Один и тот же маршрут. Бабушки в шубках и на каблуках. Мужчины в простроченных ромбиками куртках с вельветовыми воротниками или в пальто любимого венецианцами зеленого цвета, расходящееся куполом книзу с вертикальной складкой на спине от воротника до края. Я люблю выходить неизвестно где и, выпив рюмку траппы, согревшись ею, продолжить дальше свой маршрут на вапоретто, узнавая маленькую, но бесконечную Венецию.

Дома в Венеции в декабре у меня стоит маленькая искусственная наряженная елка. Венеция вообще скромно ожидает Рождество и Новый год. Без истерик. Она столько всего видела и так хороша собой, что ей не надо особенно надрываться и особенно украшать себя.

Свою венецианскую елку я разбираю в марте. Когда возвращаюсь из Москвы в Венецию. (Карнавальная февраль, как правило, я пропускаю. А тихий январь хорош и в Москве.) Получается, как в том бородастом анекдоте. “Елку я выношу 8 Марта”.

Как-то в декабре в Венеции я купил в магазине цветок – “Рождественскую звезду”. Вы, конечно, знаете этот цветок с красно-зелеными листьями. Где зеленый цвет переходит в красный. А тогда я увидел его впервые. Цветок этот стоял у меня в Венеции дома. Весь декабрь. А на Новый год я улетал в Москву. Я всегда на Новый год возвращаюсь в Москву. (В последнее время у меня в жизни много разных возвращений.) Я уже вышел из дома и закрыл дверь. И почувствовал какой-то дискомфорт. Какую-то тревогу. Я что-то не сделал или сделал что-то не так. Все закрыл. Все выключил. Я вернулся. На столе в темноте (ставни были закрыты) стоял и краснел цветок. Я его бросил. Я его предал. Попользовался, полюбовался и бросил. Тогда я достал старый чемодан и положил в пустой чемодан цветок. Сел с этим чемоданом на вапоретто, потом на автобус, потом в самолет, потом в машину.

Так “Рождественская звезда” оказалась в холодной, неприветливой, заснеженной, психопатичной Москве.

Этот цветок еще долго смотрел на меня с благодарностью. И краснея.

Марсианская народная республика

Ольга Славникова

Теперь смешно вспоминать, как Наташа Раздрогоина, будучи в незапамятные времена пухлым белесым подростком с большими щеками цвета редиса, мечтала полететь на Марс. Оказалось, что она банально боится летать, даже самолетами гражданской авиации. А летать приходится каждые два-три месяца: бизнес есть бизнес.

Пожилой аэробус трясло, будто телегу на разбитом проселке. Наташа сидела, вцепившись в подлокотники, чувствуя ступнями, поджатыми пальцами ног, семь километров пустоты. Сегодня в “Шереметьево” лил густой дождь, и когда аэробус, вырулив и помедлив, рванул на взлет, влага поползла по иллюминатору толстыми дрожащими слоями, искривляя мир, который для Наташи никогда не будет прежним. Да, она все для себя решила. Так и сказала своему Раздрогоину, сдвинувшему брови птичкой:

– Теперь только развод. Я от тебя ухожу, на этот раз по-настоящему. И что бы ты ни говорил, я тебя не слышу и не вижу в упор.

Она бы и ушла немедленно в тот же день, но было глупо собирать вещи, когда в прихожей уже стоял ее бывалый чемодан, готовый наутро ехать в Москву, а оттуда в Пекин. Что ж, каких-нибудь десять дней. А потом сразу на квартиру, купленную под офис. Нет уже смысла переводить ее в нежилой фонд, надо просто переселиться и жить. Ничего, что первый этаж, ничего, что окна заросли чащобой мусорных кустов и закрыты ржавыми решетками, полными паутин и истлевших листьев, вместе похожих на содержимое гроба. Как говорится, решаемые проблемы. Главное – Раздрогоин оставлен не на улице, в уюте и тепле, надо потом аккуратно уволить его из фирмы, пусть-ка поищет работу в родном Окурове с его тремя заводами и четырьмя ларьками. Или пусть в Москву поедит на электричке, вылезая из тепловой постели в половине пятого утра. Ничего-ничего, взрослый человек.

Здесь, наверху, не было ни дождя, ни снега, вообще никакой погоды. Пронзительно чистая ночь, как огромная линза, сквозь которую, казалось, кто-то наблюдал за трепыханием слабосильного самолетика. В иллюминаторе напряженное крыло качалось и гнулось, распахиная пространство, будто плуг землю; под ним в разрывах сизых, как печной дым, облаков неспешно проходили города, похожие на угли догорающих костров. В соседнем кресле храпел, оттопырив красное ухо, бровастый китаец; спал и весь самолет, лишь кое-где в белых овалах индивидуального света блестела раскрытая книга да пылали мониторы, освещающие птичьи чубчики китайских студентов, и сейчас, в объятиях бездны, что-то настырно изучавших. Наташа завидовала бесстрашным сновидцам, не чувявшим тряски. Она пыталась вообразить, что будет, если обшивка аэробуса лопнет. Или загорятся двигатели, превратившись в бочки с полыхающим керосином. Интересно, долго ли падать с высоты в семь километров? И что почувствует Раздрогоин, увидев сюжет в новостях?

Эта его девица, узенькая брюнеточка, на голове точно разбили чернильницу, рот нарисован в пол-лица и похож на печень. Не первая и не последняя у Раздрогоина, Наташа пережила таких десятков или два. Но на этот раз муж загулял злостно, забыл про все, в том числе про квартальный отчет, который составил, естественно, бухгалтер, а Раздрогоину всех дел было – отвезти документы в налоговую. Документы провалялись месяц у него в “фольксвагене”, и кроме злополучных бумаг, заляпанных какими-то сладкими пятнами, в машине обнаружили помада того самого печеночного цвета, истрепанный журнальчик “Лиза” и одна красная дамская перчатка с пальцами как стручки жгучего перца. Может, забрать у Раздрогоина машину? Пожалуй, не стоит: если в эту развалину не вкладывать денег, она сама через месяц встанет.

Больше Раздрогину ни копейки! Даже в утро Наташиного отъезда он звонил своей девице, или она ему, не суть. Наташа, закаменев, ждала такси, а Раздрогин расхаживал по спальне, приложив мобильник к мохнатой щеке, щерился, хмыкал, шарил воспаленным взглядом по ковру. Он всегда так говорит по телефону: ходит, ходит и словно не слушает собеседника, а ищет под ногами оброненный предмет. Собственно, так они и познакомились двенадцать лет назад, в парке, у фонтана, пылившего прохладой на гипсовые бюсты местных героев войны, похожие на рассаженных по постаментам белых ворон. Молодой человек в мягкой, как булка, бороде, будто что-то искавший среди толкотни праздного народа и прелых голубей, показался тогда Наташе очень близоруким. Тут же она и увидела искомое: неуклюжие очки на опыляемом влагой асфальте, полные воды. Но выяснилось, что зрение у Раздрогина сто процентов. В память о встрече они сохранили реликвию; очки оказались очень сильными, минус семь по меньшей мере, и в хорошие минуты семейной жизни Наташа и Раздрогин надевали их по очереди: сквозь линзы, толстые, как донца стаканов, мир был резок и головокружителен, будто выпитые махом двести грамм водки. Что стало теперь с этими очками? Наташа и не помнит, где они лежат.

А что стало с Раздрогиным? Растолстел, похож в китайских шелковых халатах, навезенных ему в изобилии, на яйцо Фаберже. Борода сделалась жесткой, какой-то звериной, а волосы теперь растут только на половине головы, всего хватает на жидкий хвост, спереди лысина обширна, как обсерватория, только нет за ней никакого особого интеллекта. И что все эти крашенные девицы находят в Раздрогине? Лично Наташа не находит в бывшем муже ровно ничего. Сейчас, в самолете, мобильник отключен, но, как только чартер сядет в Пекине, моментально полезут от Раздрогина большие, как романы, эсэмэски. Как-то умел он раньше и разжалобить, и оправдаться. Лучше вообще ничего от него не читать.

Наконец, истрепанный аэробус шаркнул колесами по посадочной полосе, встряхнулся, покати, в салоне жидко похлопали, озабоченные уже наземными делами: паспортным контролем, багажом. Наташа включила мобильник и бросила его обратно в сумку: пусть ищет сеточку. Выйдя на трап, она глубоко вдохнула мутный и теплый воздух Поднебесной, в котором запах авиационного керосина был как запах цветов. Все-таки в Пекине она ощущает себя лучше, чем в отчужденной, недоброй Москве. Здесь партнеры, здесь дела, здесь недорогие ресторанчики, извещающие о себе красными фонарями, похожими на лук, что сушится на русских кухнях. Странно вспомнить, как, впервые оказавшись здесь и попав на улицу, всю пылавшую прозрачным красным жаром, Наташа бросилась бежать, решив, что это веселый квартал.

Перед паспортным контролем русскую группу, собранную с бору по сосенке в одну коллективную визу, встречал знакомый китаец Володя, веселый, тощий, как доска, в неизменной серой рубашечке и замызганных шортах, валившихся с него мешком. На самом деле Володю звали, конечно, иначе, но Наташа никогда не могла запомнить его родное имя. Все китайцы, с кем она имела дело, были Люси, Светы, Саши, Коли, Сережи: казалось, они брали себе все эти имена с удовольствием, точно дети, играющие в русских. Здесь, в Поднебесной, все было немного ненастоящее, немного игровое – по крайней мере, на взгляд приезжего, не допущенного к сердцевине жизни. В чем трагедии, в чем печали этих бесчисленных маленьких людей, вблизи совершенно разных, но уже на расстоянии двух шагов неотличимых друг от друга, как неразличимы астры на клумбе и муравьи в муравейнике? Наташа не имела представления после стольких-то лет.

Вот наконец суровая пограничница, курносая, со щеками-горшочками, клацнула по Наташиному паспорту вверенным ей государственным штампом. Группа туристов-купцов, влача багаж, выбралась вслед за бодрим Володей на уже ощутимый припек. Автобус был все тот же: надсаженная развалина в новенькой ярко-желтой краске, где кондиционер работал,

будто в горячую ванну добавляли струйку теплой воды. Наташа, за весь полет не сомкнувшая глаз, чувствовала, как на нее пьяными волнами наплывает дремота. Вдруг она спохватилась, что телефон в битком набитой сумке до сих пор не заработал. Открыла, нашла: все в порядке, сигнал есть, но сообщение только от МТС: “Добро пожаловать в Китай”.

Почему-то Наташе сразу расхотелось спать. Она устала в окно, где уже начинался громадный Пекин, погруженный, как всегда, в молочный смог. Транспорт здесь был разнообразен и порой удивителен: вот на мелкий мопед надстроен целый же-стяной грузовичок, похожий на простую детскую игрушку, только нагруженный настоящими тяжелыми мешками; вот велосипедист, налегая на педали, точно поднимаясь пешком по крутым ступеням, везет высокую, как телефонная будка, железную кабинку, в будке пассажирка что-то с аппетитом ест, отрясает от крошек блузку на груди. И тут же – современные, зеленые с желтым, яркие такси, “лексусы”, “мерседесы”, все это сигналист, мчится, сбивается в кучи перед светофорами, в железных потоках виляют велосипеды, до жалости хрупкие, с беспечными, как птицы, черноволосыми седоками. Сегодня смог в Пекине даже плотнее обычного: ближнее здание видится ясно, второе едва проступает, третье – как тень на стене. Белая мгла придает какое-то особое величие центру столицы: хайтековские башни, черно-зеркальные громадины, словно плывут в облаках.

Перед самой гостиницей Наташа еще раз проверила мобильник. Не имеет значения, что от Раздрогоина ни слова. Лишь бы не загулял совсем, не спалил квартиру на радостях.

Район торговой улицы Ябаолу говорит на ломаном русском. Аптека “Сеня”, универмаг “Людмила”, в холле гостиницы, на полу, радужные разводы от очень мокрой уборки, выставленная табличка предупреждает: “Ноги скользят” – в смысле *Wet floor*. Россия отражается в Ябаолу, как лицо в самоваре: смутно, широко, на себя не похоже, и все-таки это она, Родина, смотрит пристально из-под медного лба прямо в душу далеко уехавшего торговца. Даже китайские иероглифы здесь похожи на русские пряники; плотный велорикша, желая привлечь клиентов к своей потертым алым бархатом крытой повозке, выводит сахарным тенором “Подмосковные вечера”.

В номере Наташа хотела подремать с дороги, но сон не шел, подушка была комковата и грузна, будто в нее зашили какое-то мертвое животное. На сердце лежала тень. От хандры имелось проверенное средство: хорошо покушать. На Ябаолу с этим было все в порядке, если, конечно, знать места. Наташа встряхнулась, приняла как можно более холодный душ, на деле – будто погладила ноющую кожу тепловатой кисточкой. Стуча в фанерном шкафу одежными вешалками, поймала себя на том, что слишком наряжается для выхода в будничную пыльную жару. Да бог с ним, все равно. Начинается новая жизнь, без Раздрогоина, представленного здесь наглым мобильником, сосущим электричество из шаткой розетки. Вот пусть и остается в номере, а Наташа пошла отдыхать.

Ресторанчик, куда она направлялась, назывался “Коля-Нико-лай” и считался русским: здесь подавали нечто, состоявшее из всего того же, что борщ, и называвшееся борщом, но в китайской сумме дававшее вкус подслащенной травы. На самом деле русские предпочитали местное меню, и Наташа предвкушала хрустящую рыбку под мандариновым соусом, курицу с арахисом, жаркий пышный рис. Кроме того, ресторан служил местом встречи простых русских бизнесвумен, только и видевших друг друга, что здесь, на Ябаолу. Рыжая Надя из Курска, большая, как медведица, Вера Григорьевна из Челябинска, красotka и куколка Аня из Петрозаводска, многодетная, с тяжелыми руками, Валентина из Саратова, еще пять-шесть человек “наших”, которых встречаешь иногда постоянно, иногда не совпадаешь с ними по году, по два. Все-таки “наши” ближе и родней, чем все окуровские клиентки и подружки, а почему так получилось, непонятно. Должно быть, влияет какой-нибудь китайский божок с полированным радостным пузом, не дурак выпить и закусить.

Русский ресторан охраняли мелкие гипсовые львы, больше похожие на мускулистых бульдогов. Внутри, как всегда, полутемно, светится зеленый аквариум с толстыми золотыми рыбами, что веют в мутной воде своими рваными вуалями. Так и есть: за дальним столом и Валентина, и Анюта, с ними еще две смутно знакомые русские бабы, все машут, зовут, привстают, поддавая снизу блюда с закусками.

– Какие приехали люди! – Валентина, жарко дышавшая едой, сгребла Наташу в квадратные объятия. – Да ты раздобрела, мать, не обхватишь тебя! Хорошо живешь или как?

– Или как, – потупилась Наташа, опускаясь на стул. Да, юбка из синенькой жатки сегодня едва застегнулась, так что теперь, не есть вообще? Наташа вдруг почувствовала, что слезы подступили и давят на нос, и никак не отшутиться.

– Да ладно, злые вы языки, – Анюта, оживленная, в жемчугах, похожих на крупную чернику, явно сегодня купленных, потянулась к Наташе с блюдом креветок. – Подставляй, подруга, тарелку, а то мы столько всего заказали, не справимся. Давай, помогай!

Наташа сладко вздохнула и набрала себе доверху пряной вкуснотищи. Юбка предательски потрескивала, но от еды на душе полегчало. Теперь Наташа вспомнила, что женщину в желтой кофточке с очень красивыми, словно гладью вышитыми бровями на незнательном личике, зовут Вероника. Она как раз говорила, щелкая палочками для еды, будто клювом, над чашкой с лапшой:

– Так я что хочу сказать: у Тани с Восточного, ну, вы знаете Таню с Восточного, пятьсот восьмой офис, трикотажик супер. У меня в двух шопах коллекция ушла за неделю. Девочки, я не для того, чтоб рекламу, мне-то какой интерес, я уже новый заказ оплатила, но вам всю правду советую, берите, не прогадаете. А у Тани этой, между прочим, любовник из ихнего райкома, такой мужчина представительный, вроде как Брежнев в три четверти натуральной величины...

– Прихожу вчера на Силк-маркет себе кое-что посмотреть, – рассказывала, не обращая внимания на Веронику, веселая Анюта. – Слышу, китайцы кричат: “Гуся-версая! Гуся-вер-сая! Бери десева!” Якобы Гуччи и якобы Версаче. Гуся! Хоть бы научились правильно бренды произносить!

– Не скажите, Аня, китайские коллеги грамотные маркетологи, – рассудительно произнесла пятая женщина, знакомая, но с незнакомой стрижкой на круглой, как у снеговика, вбитой в плечи голове. – Они кому продают товар? Нам, русским. Потому и кричат, что русским будет прикольно, они подойдут поближе, а там и купят чего-нибудь. Бизнес надо делать на положительных эмоциях. А нам легче удивиться, чем улыбнуться. Как увидишь за границей морду кирпичом, значит, наш, русак.

– А у меня как раз положительное сообщение, – вмешалась Валентина, сияя небольшими яркими глазами, оставшимися ей на память от былой красоты. – У меня Валерка, сын, поступил на юридический. На бесплатное, сам, без репетиторов. В кои веки порадовал мать!

Все загалдели и сгрудили стаканы с пивом и вином. Наташа знала Валерку по Валентиным рассказам, как знала и других детей, мужей, матерей и свекровей, что составляли жизнь ее приятельниц вдалеке от Ябаолу. Все эти люди, рассказанные и, конечно, присочиненные, были для Наташи как герои книги, иногда интересной, иногда скучноватой. Раздросин, тоже законный, всем известный персонаж, теперь подлежал изытью – но почему-то Наташа промолчала про развод. Подумала, что, может быть, никогда и не сообщит об отставке Раздросина, а будет врать про его новые загулы, бестолковость, про его высокое давление, сочинит ему еще парочку брюнеток, а то и купит новую машину, *Nissan Patrol*, как он хотел, жалко, что ли, если не всерьез.

– Девочки, ну когда же вы в гости-то ко мне соберетесь?! – воскликнула расчувствованная, раскрасневшаяся Валентина. – Обещаете, обещаете! У нас такая Волга, такие пляжи. На рыбалку поедem, не хуже мужиков!

“Никогда, – подумала Наташа, отвернувшись к окну, за которым тлел в раскаленном тумане низкий, какого-то марсианского бурого цвета, пекинский закат. – Никто никогда ни к кому не приедет в гости. Вот так и проходит наша единственная жизнь”.

Ночью Наташа то и дело вскакивала к мобильнику, точно он был грудной младенец; его молчание было пронзительней самого громкого крика. Несколько раз она открывала в контактах номер Раздрогоина, но всякий раз нажимала на “Выход”.

Это было оно, то самое убийственное, пожирающее душу беспокойство, какое охватывало дома, когда Раздрогоин шатался где-то допоздна. Но теперь-то что ей за дело до своего бывшего? Следовало уже давно выставить паразита вон. Но все было так трудно, столько лет на одних нервах. Наташа то попадала по неопытности на дорогие кредиты, то у нее на складе прорывало трубу и товар плавал в разваренном говне, а то еще надо было разруливаться с бандитской “крышей”, и Наташа вилась ужом, чтобы не лечь под бригадира Костяна, обритого, белоглазого, приходившего в ярость за полторы секунды и тогда испускавшего страшный едкий дух кабаньей случки, от которого у Наташи подгибались ноги. Как было в этом во всем выдержать еще и стресс разрыва с Раздрогоиным, тем более что пойти ему из дома было совершенно некуда? Много раз после скандалов Раздрогоин порывался уйти на вокзал и там жить. Он даже вытаскивал в прихожую свою старую сумку, кое-как набитую вещами, и принимался, с набухшим от натуги лбом, завязывать шнурки – но тут Наташа сама бросалась между ним и дверью, между ним и этим вокзалом или каким-нибудь другим бомжатником, в ужасе от того, как Раздрогоина потом искать, как лечить от воспаления легких, от лишаев и вшей. Нет, она просто не могла себе позволить такого удара, посыпался бы бизнес – а было очень страшно остаться без своего дела, без денег на жизнь.

Наутро Наташа отправилась на Новый Ябаолу, думая о своем заказе, который уже неделю как отшит на фабрике и ждет отправки. Это в Пекине жара плюс тридцать, а в Окурове уже летали сырые белые мухи, и скоро зима. Хорошо пойдут шубы из норки-поперечки, куртки из крашеной лисы, все в стиле *Ferre* и *Simonetta Ravizza*. У китайцев – культ и культура копий, говорят, они еще до нашей эры подделывали свою старину, и подделки с течением столетий сами становились подлинниками. Здесь никого не смущают фальшивые юани: если тебе дали подозрительный “стольник” с розовым, как пион, председателем Мао, можешь спокойно им расплатиться на рынке, в харчевне. Масса фальшивых купюр работает почти наравне с настоящими деньгами, честно вращает колеса экономики. Видимо, только в Поднебесной и стало возможно производить мегатонны “брендовых” реплик, которые мирно наполняют магазинчики вроде тех, что держит Наташа. Уж кто-кто, а она хорошо знает своих клиентов: им и не нужно подлинного, и дело не только в дешевизне китайского товара. Жизнь, для которой они покупают хрустящие, словно бумагой переложенные меха и сумки с буквами, на деле – чистая иллюзия. Эта выдумка ничего не имеет общего с их реальностью, той, где давка в транспорте, сволочное начальство, ангинозные рассветы по понедельникам, дача и дождь по выходным. Но как, скажите, вытерпеть реальность, если больше ничего нет?

На меховых этажах оптового мегамолла пахло, как на звероферме; в проемах вместо дверей висели шторы грязного атласа, в тесных витринах кое-где красовались, изображая роскошных дам, манекены-калеки, с беспальными культяпками и шершавыми язвами вместо носов. Все это вместе напоминало дешевый бордель – но именно здесь делался огромный товарооборот и ковалось счастье россиянок, замерзающих в снегах. Наташа заранее радовалась встрече со своим менеджером, которую по-русски тоже звали Наташа. Маленькая китаянка, личиком похожая на белку, всегда была проворна и услужлива, много смеялась, давала хорошую скидку, и в сумке рядом с тяжелым, как булыжник, ненавистным мобильником для нее лежал подарок – павловский платок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.